Проф. М. РЕЙСНЕРЪ

ПРОЛЕТАРІАТЪ И МѢЩАНСТВО

ДВѢ ДУШИ РУССКАГО НАРОДА ВЪ УЧЕНІЯХЪ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА И МАКСИМА ГОРЬКАГО

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
І. Р. БѢЛОПОЛЬСКАГО
ПЕТРОГРАДЪ ::: 1917

Оглавленіе.

стран.

I. Полемика Андреева съ Горькимъ.—Мистика здоровая и больная. — Мистика Андреева и Горькаго. — Душа природы.— Народъ - богостроитель. — Молитва. — Освобожденіе отъ мистики 1

II. Андреевъ, какъ художникъ. — Его стиль и общественная фантастика.—Человѣкъ-звѣрь и міровая тюрьма.—Сверхчеловѣчество. — Мѣщанство у Горькаго. — Его психологическій музей. — Женщина. — Лишніе люди. — Романтики. — Религія труда.—Оптимизмъ Горькаго 43

III. Прежній Андреевъ и Андреевъ новый—Цѣнность стараго Андреевскаго пессимизма. — Новый военный оптимизмъ Андреева.—«Ното».—Духъ и великіе.— «Иго войны».—Свѣтъ, который долженъ возсіять; любовь и прусское насиліе.— Андреевъ и славянофилы 97

I.

Полемика Андреева съ Горькимъ. — Мистика здоровая и больная. — Мистика Андреева и Горькаго. — Душа природы. — Народъ - богостроитель. — Молитва. — Освобожденіе отъ мистики.

Въ декабрьской книжкѣ «Лѣтописи» за 1915 г. появилась статья М. Горькаго: «Двѣ души». Въ этой статьѣ народамъ европейскимъ, «духовная энергія которыхъ наиболѣе плодотворно стремилась и стремится къ освобожденію личности отъ мрачнаго наслѣдія изжитыхъ угнетающихъ разумъ и волю фантазій древняго Востока», противоставлялся именно послѣдній, какъ родина «мистики, суевѣрій, пессимизма и анархизма, неизбѣжно возникающаго на почвѣ безнадежнаго отношенія къ жизни». Эти два начала далѣе и ихъ борьба раскрывались въ слѣдующихъ чертахъ. Европа—это арена напряженной активности, вѣры въ побѣждающую силу знанія, возведенія человѣка въ высшую «цѣль природы». «Лозунгъ Европы» поэтому «равенство и свобода, на основаніяхъ изученія, знанія, дѣянія». Наоборотъ Востокъ страна бѣгства отъ жизни, фанатизма, изувѣрства, но вмѣстѣ «счастья и покоя за предѣлами земли, въ области воображенія». Въ результатѣ—подавленность личности, политическій и соціальный застой. Таковы «два различ-

ныхъ міроощущенія, два навыка мысли, двѣ души». «Основная сущность ихъ одинакова, стремленіе къ добру, красотѣ жизни, къ свободѣ духа», но цѣлый рядъ сложныхъ историческихъ причинъ ведетъ ихъ по различнымъ путямъ въ самомъ главномъ, въ «отношеніи человѣка къ дѣянію», опредѣляющемъ все его значеніе. всю «цѣнность на землѣ».

Борьбу двухъ душъ слѣдитъ далѣе Горькій и въ европейской исторіи и въ русской психикѣ: «каждый разъ, когда западная Европа, утомленная непрерывнымъ строительствомъ новыхъ формъ жизни, переживаетъ годы усталости—она черпаетъ реакціонныя идеи и настроенія отъ Востока. «Съ Востока свѣтъ». Это «азіатская мысль, запуганная, безсильная, унижающая человѣка», «въ печальныхъ условіяхъ его бытія поработила его и нынѣ отдаетъ въ плѣнъ и власть европейскаго капитала». Эта «азіатская мысль», особенно проявилась на Западѣ въ его индивидуалистическомъ романтизмѣ начала XIX вѣка Шатобріана и Новалиса, Тика и Шлегелей.

Однако наиболѣе тяжко сказывается «умъ древняго Востока» въ русской жизни. И это потому, что здѣсь азіатской душѣ можетъ быть противопостав-

лена лишь душа славянина, которая «можетъ вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горитъ, быстро угасая, и мало способна къ самозащитѣ отъ ядовъ, привитыхъ ей, отравляющихъ ея силы». Рядомъ историческихъ примѣровъ подтверждаетъ Горькій свою мысль, указываетъ на развитіе «азіатскихъ началъ» и въ «восточной косности» нашей буржуазіи, и въ обломовщинѣ, крѣпостнической жестокости и гамлетизмѣ нашего дворянства. Наоборотъ «отъ Запада, отъ Вольтера» «либеральныя идеи дворянства, его культурность, любовь къ искусствамъ, заботы о просвѣщеніи народа». И совершенно послѣдовательно зоветъ послѣ этого Горькій «честныхъ и разумныхъ русскихъ людей», чтобы они боролись «съ азіатскими наслоеніями въ нашей психикѣ», лечились «отъ пессимизма», покончили съ «мистикой» и «романтическими фантазіями». Этимъ отвергается и «богоискательство» и теорія «личнаго совершенствованія» и «анархическое своеволіе личности» съ ея жестокостью и деспотизмомъ. Только наука, коллективизмъ и демократія способны воспитать «сильную и красивую личность».

Доселѣ—Горькій. О приведенной статьѣ, конечно, можно спорить, какъ съ одной

стороны по поводу противоположенія мистики и разума, такъ съ другой стороны относительно общей характеристики указанныхъ идейныхъ теченій. И когда появилась въ «Современномъ Мірѣ» (№ 1, 1916 г.) отвѣтная статья Леонида Андреева, то она не могла не заинтересовать всякаго непредубѣжденнаго читателя. Однако въ статьѣ Андреева мы меньше всего встрѣчаемъ полемику по существу. Наоборотъ, она вся построена на непостижимомъ извращеніи сказаннаго Горькимъ. Послѣдній, проповѣдникъ активности и оптимизма, превратился у Андреева въ злостнаго пессимиста и клеветника на русскую дѣйствительность: Онъ, де, унизилъ «цѣлый народъ» русскій, не далъ ему какъ преступнику даже «надежды на возрожденіе», не призналъ за нимъ даже «искры Божіей». Самъ Горькій съ этой точки зрѣнія оказался «пассивнымъ», и «бездѣятельнымъ славяниномъ, мрачный пессимизмъ, слабоволіе и пассивность котораго столь настойчиво противополагаются яркой активности» современной Европы. И такъ какъ въ самой статьѣ Горькаго Андреевъ все-же не нашелъ достаточно матеріала для упрека въ «самоплеваніи», «сектантскомъ самосожженіи» и «верченіи волчкомъ»,

венія или интуитивныя просвѣтленія и т. п. Наконецъ образы, которые намъ нередаетъ наше подсознательное, мы склонны также объективировать, такъ какъ они поражаютъ насъ съ одной стороны своей необычностью, а съ другой ощущеніемъ чего-то непосредственно и притомъ реально даннаго. Въ особенности подсознательное привлекаетъ наше вниманіе и внушаетъ намъ къ себѣ интересъ тѣмъ, что оно, будучи лишено вліянія задерживающихъ центровъ и контролирующаго аппарата, раскрывается какъ нѣчто лежащее внѣ пространства и времени, безконечное, фантастическое, способное къ самымъ неожиданнымъ сочетаніямъ, необозримо богатое со стороны эмоціональной и снабженное всѣмъ тѣмъ громаднымъ опытомъ, который пополняется каждую секунду нашимъ подсознательнымъ же воспріятіемъ окружающаго.

Неудивительно послѣ этого, что раціональное использованіе нашихъ подсознательныхъ переживаній является одною изъ важнѣйшихъ задачъ организаціи нашей духовной жизни, и здѣсь жизненная практика уже намѣтила нѣсколько главнѣйшихъ типовъ. Наиболѣе извѣстнымъ является безспорно тотъ, который

практиковался оффиціальными «мистиками» всѣхъ странъ и народовъ. Этотъ типъ строится при помощи сознательнаго отказа отъ активной дѣятельности, отъ внѣшняго міра, отъ разума, и приводитъ къ полному погруженію въ сноподобное, сомнамбулическое или гипноидное состояніе, причемъ достигается необычайно сильное переживаніе мистическаго опыта въ смыслѣ полнаго погруженія въ такъ называемый потусторонній міръ. При такомъ «эгоистическомъ» его использованіи — обыкновенно путемъ соотвѣтственной тренировки — удается образовать въ подсознательномъ опредѣленные шаблоны переживаній, которыя мало по малу суживаютъ сферу подсознательнаго опыта, обѣдняютъ ее и приводятъ къ привычнымъ грезамъ, сопровождаемымъ весьма острыми ощущеніями, приближающимися въ значительной степени къ эротическимъ съ послѣдующимъ сладостнымъ погруженіемъ въ Нирвану.

Такой болѣе или менѣе полный уходъ отъ міра необходимо влечетъ за собою соотвѣтственный разрывъ двухъ міровъ внѣшняго и внутренняго, матеріи и духа, земли и неба или, иначе говоря, совершенно устраняетъ то необходимое сотрудничество подсознательнаго и созна-

тельнаго въ нашемъ отношеніи къ жизни, которое является непремѣннымъ условіемъ всякой здоровой и сознательной активности. Наше эстетическое, этическое и раціональное познаніе совершенно лишается тѣхъ богатыхъ данныхъ, которыя накоплены въ общей сферѣ нашего духа и этимъ самымъ осуждается на безпомощность, изолированность и безисходный пессимизмъ. И жизнь и сознаніе раскалываются. Водворяется столь свойственный «мистикамъ» нигилизмъ, а за нимъ полное безразличіе въ нравственномъ и общественномъ отношеніяхъ.

Мы не будемъ здѣсь подробно останавливаться на томъ, второмъ, типѣ «мистика», который слагается на своеобразномъ раздвоеніи личности у алкоголиковъ, наркомановъ и подобной публики, которые временами живутъ то сознательной жизнью въ бодрственномъ состояніи, то подсознательной въ пьяномъ или хмельномъ періодѣ.

Подобное раздвоеніе губительно дѣйствуетъ на личность и хотя не въ такой степени какъ аскетическая тренировка, однако, серьезно поражаетъ какъ безсознательную, такъ равно и сознательную сферу психики.

Въ умѣренныхъ размѣрахъ возбуждающія средства могутъ очень поднимать дѣятельность подсознательной сферы, чѣмъ и пользуются многія лица, особенно нуждающіяся въ короткомъ, но сильномъ «вдохновеніи» для художественнаго, научнаго или практическаго творчества. Такіе «мистики» очень страдаютъ въ одномъ отношеніи — необходимость увеличенія дозы наркотика приводитъ къ болѣзни и смерти.

Третій типъ использованія подсознательнаго даетъ намъ нормальную личность, которая «мистику» ставитъ цѣликомъ на службу сознательнаго процесса не только познаванія и художественнаго отображенія, но и дѣятельности. Въ этомъ случаѣ «мистика» непосредственно сопровождаетъ весь процессъ сознательной жизни въ томъ смыслѣ, что каждое наше переживаніе во внѣшнемъ мірѣ связывается съ соотвѣтственнымъ комплексомъ изъ сферы подсознательнаго опыта, внѣшнія впечатлѣнія пополняются изъ богатаго запаса «потусторонняго» міра, находящагося въ общей сферѣ души, внѣшніе образы дополняются переживаніями «извнутри» и мы получаемъ возможность видѣть предметъ не только однимъ глазомъ, такъ сказать, въ плоскомъ изобра-

женіи, но двумя сразу — въ выпуклом. Именно мистика или подсознательное даетъ намъ драгоцѣнную «догадку», изобрѣтеніе, интуицію, именно ей мы обязаны тѣмъ «вдохновеніемъ», которое такъ необычайно усиливаетъ, обостряетъ и утончаетъ наши способности. Наконецъ, въ сферѣ дѣйствія наше подсознательное со своими автоматическими навыками, сноровкой, вѣрой, а въ случаѣ надобности «инстинктивно-геніальнымъ приспособленіемъ» играетъ не меньшую роль. И если мы сплошь и рядомъ переводимъ въ «мистику» тѣ или иные сознательно продуманные пріемы и способы дѣйствій, то не менѣе мы пользуемся при разрѣшеніи сознательно поставленныхъ задачъ готовыми двигательными составами, хранящимися въ запасѣ нашего многообразнаго автоматизма.

При нормальномъ соотношеніи «разума» и «мистики» обмѣнъ между сознательнымъ и подсознательнымъ можетъ достигнуть чрезвычайной интенсивности. Но, конечно, гарантіей того, что мы не заблудимся въ грезахъ и бредовыхъ идеяхъ, что мы не станемъ жертвою субъективизма и не будемъ увлечены автоматизмомъ нашей мистики на путь слѣпой косности, подражанія или вну-

ніенія, является обращеніе нашей воли и вниманія къ міру, непрестанное желаніе отвѣчать ему, стремленіе активно участвовать въ немъ, расходовать для него свои силы. Не въ себя, а отъ себя, не для моего я, а для другихъ, не съ закрытыми глазами, а цѣликомъ подвергая себя дѣйствію звучащаго, зовущаго, свѣтящагося міра, міра безчисленныхъ прикосновеній, осязаній, запаховъ, толчковъ, движенія и борьбы,—только этимъ путемъ мы открываемъ выходъ нашей «мистикѣ», даемъ ей художественный символъ, выражаемъ ее въ словѣ, исчерпываемъ этотъ вѣчно бьющій источникъ живыхъ силъ. Болѣе того, даже въ интересахъ самой «мистики» такое обращеніе къ міру, исходъ въ міръ, ибо только этимъ путемъ мы даемъ нашему подсознательному новый опытъ, новыя переживанія, образы и идеи, которыми мы впослѣдствіи можемъ воспользоваться. Не надо забывать, что мы видимъ, слышимъ, чувствуемъ, воспринимаемъ и мыслимъ несравненно больше, нежели мы это замѣчаемъ нашимъ сознаніемъ. Нашу психику можно безъ натяжки сравнить съ озеромъ, у котораго кромѣ одного широкаго и ярко освѣщеннаго солнцемъ притока имѣется еще

ПУБЛИЧ... КОММУНИСТИ... АКАДЕМИИ...

много подземныхъ ключей. Чѣмъ сильнѣе будетъ теченіе воды въ душевномъ озерѣ, чѣмъ чище русло, тѣмъ правильнѣе будутъ дѣйствовать и на днѣ скрытые ключи.

Послѣ этого отступленія мы можемъ перейти къ той «мистикѣ», которую находимъ у Горькаго. Послѣдній, какъ очевидно, называетъ мистикой лишь мистику больную, ушедшую въ себя и свои себялюбивые восторги, мистику, которая, подобно скупцу, вѣчно проваливается въ свои подвалы, чтобы тамъ насладиться своими сокровищами. Поэтъ по достоинству клеймитъ ее, отъ нея предостерегаетъ. Но никто другой, какъ самъ Горькій, могъ бы разсказать намъ о мистикѣ здоровой, мистикѣ любви и активности, которая всѣ богатства своего неистощимаго подсознательнаго стремится отдать міру въ творчествѣ и самоотверженіи. Глубоко правъ съ этой точки зрѣнія Мережковскій въ своей статьѣ, помѣщенной въ «Русскомъ Словѣ», когда онъ, противопоставляя «Бабушку» и «Дѣдушку» горьковскаго «Дѣтства», высоко ставитъ мистику самого Горькаго. Простое сравненіе «мистики» Горькаго и Андреева покажетъ намъ, на чьей сторонѣ преимущество.

Нельзя сказать, чтобы Андреевъ, такой большой художникъ, ничего не зналъ о «мистикѣ» во всѣхъ ея формахъ. Ему прежде всего отлично извѣстны тѣ проявленія подсознательнаго, которыя лежатъ въ основѣ активной любви къ міру, въ интимномъ общеніи съ Космосомъ, въ отдачѣ себя другимъ. «Широкая какъ море» любовь Муси изъ «Семи повѣшенныхъ», чудесная молитва пастора въ «Океанѣ», желтыя пушинки въ рукахъ о. Ѳивейскаго, любовь къ дальнему и кипящая вѣрой активность въ «Къ звѣздамъ»—все это показываетъ намъ наряду съ лучшими мѣстами изъ маленькихъ разсказовъ Андреева въ первомъ періодѣ его творчества, что поэтъ знаетъ о томъ потокѣ подсознательныхъ переживаній, которыя черезъ сознаніе идутъ въ міръ и навстрѣчу ему. Но не эта «мистика» привлекаетъ особенное вниманіе художника, не она даетъ основной тонъ его «пророчеству». Прежде всего и больше всего, подобно Эдгару По и Достоевскому, Леонида Андреева тянетъ другая мистика, наиболѣе ему близкая и родная. Это—мистика непріемлющая міра, отрицающая его и поэтому цѣликомъ представленная самой себѣ. Не какъ служебное и подчиненное разуму начало, а

какъ самоцѣльная и господствующая стихія, рисуется она въ важнѣйшихъ произведеніяхъ Л. Андреева, и ее по справедливости можно считать исходнымъ пунктомъ его «міровоззрѣнія».

Разъединеніе сознательнаго и подсознательнаго я неизбѣжно приводитъ къ двумъ положеніямъ: съ одной стороны подсознательное даетъ картину хаоса, съ другой сознательное, лишаясь освѣщенія извнутри, обречено на грубый раціоналнзмъ съ его мертвенностью, атомизмомъ, оброшенностью и голымъ формализмомъ. Такъ и происходитъ съ Андреевымъ. Первый полюсъ его сознанія образуетъ идея «извѣчнаго хаоса», безумія, «Вавилона», «Черныхъ масокъ», «Тьмы». «Представьте, что вы жили въ домѣ, гдѣ много комнатъ, занимали одну только комнату и думали, что владѣете всѣмъ домомъ, и вдругъ вы узнали, что тамъ, въ другихъ комнатахъ живутъ, да, живутъ, живутъ какія-то загадочныя существа. Быть можетъ, люди, быть можетъ, что нибудь другое, и домъ принадлежитъ имъ. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за ними ни звука, ни голоса. И въ то же время вы знаете, что именно тамъ, за этой молчаливой дверью рѣшается ваша судьба». По су-

ществу эти слова доктора Керженцова изъ «Мысли» являются блестящей иллюстраціей къ ученію Сидиса о дизассоціаціи нашего сознательнаго и подсознательнаго я и могутъ быть прекрасно дополнены картиной хаоса изъ другихъ произведеній Л. Андреева. Во «Тьмѣ» какъ разъ на глазахъ читателя происходитъ переходъ отъ личной сферы къ общей: «Внутри его, — описываетъ моментъ перелома авторъ, — происходила огромная разрушительная работа, быстрая и глухая... Какъ линючая краска подъ горячей водой — смывалась и блекла книжная, чуждая мудрость, а на мѣсто ея вставало свое собственное и темное, какъ голосъ самой черной земли»; это—стихія «дѣда» и «прадѣда», которая рѣзко противополагается мысли. Разрывъ между «разумомъ» и «мистикой» достигаетъ величайшаго завершенія въ «Черныхъ маскахъ», гдѣ подсознательная личность стихійнаго и темнаго инстинкта убиваетъ сознательную и разумную личность герцога Лоренцо.

Такая, говоря словами Сидиса, дизассоціація двухъ необходимыхъ сферъ нашей жизни приводитъ съ другой стороны къ чрезвычайному пониженію внѣшняго міроощущенія, къ обѣдненію картины міра,

къ окраскѣ его въ темные пессимистическіе тона. Въ виду этого прежде всего внѣшній міръ оказывается чрезвычайно отчужденнымъ и изолированнымъ, а личность одинокой, покинутой, осиротѣвшей. «Одиночество» становится поэтому однимъ изъ основныхъ мотивовъ поэзіи Андреева: «холодъ, заброшенность и скука» лежатъ тяжелымъ кошмаромъ на большинствѣ его героевъ. А во-вторыхъ міръ, потерявшій освѣщеніе при помощи подсознательнаго, теряетъ свою «реальность»: мистическое познаніе, снабжающее нашу мысль непосредственно «даннымъ», отказываетъ ей въ своей поддержкѣ, и окружающее пріобрѣтаетъ характеръ какой-то абстракціи, иллюзіи, чего-то призрачнаго и нереальнаго. Поставленный внѣ связи съ подсознательнымъ, разумъ погружается въ міръ призраковъ и грезъ: «Мнѣ все проснуться хочется, — говоритъ семинаристъ въ «Саввѣ», — и не могу. Хожу, хожу до устали, до изнеможенія, а очнусь — и опять я здѣсь... И все какъ сонная греза. Закроешь глаза — и нѣтъ его. Откроешь — опять оно появится... и и опять, значитъ греза»... Говоря словами Элеазара: «всѣ предметы, видимые глазомъ и осязаемые руками», становятся «пусты, легки и призрачны», «во-

ликая пустота» объемлетъ «мірозданіе» и царитъ безбрежно «всюду проникая, все отъединяя, тѣло отъ тѣла, частицы отъ частицъ»... И если что-нибудь остается отъ внѣшняго міра, то это злосчастные «мѣра, число и вѣсъ», великія орудія «Проклятаго» или Анатэмы, чисто формальныя начала, которыя дѣлятъ призрачный міръ на призрачные атомы...

Такъ, съ одной стороны пустота, раздѣленная на «тѣла» и «частицы», а съ другой—хаосъ въ душѣ человѣка—«огромное, властное, всепроникающее, всепобѣждающее чувство, въ силѣ своей и равнодушіи къ словамъ подобное «смерти», «само по себѣ неизслѣдимая тьма». Въ результатѣ полный нигилизмъ, вѣчныя колебанія между темной стихіей и безсильнымъ разумомъ, признаніе въ лучшемъ случаѣ господства слѣпой судьбы, рока, того «безсмысленнаго, тупого и дикаго», что «называлось жизнью». Это — мелодія пресловутой «міровой гармоніи», пиликающая на скрипицѣ пошлую полечку. Это безъисходный кругъ, изъ котораго одинъ выходъ—смерть, ибо только въ этомъ «фактѣ» утверждается одинаковая реальность, и для «хаоса» и для «мысли».

Нельзя и здѣсь не отмѣтить, что и

Андреевъ пытался найти положительное рѣшеніе задачи. Таковъ образъ его «огня», бѣлаго огня, «на которомъ солнце сгораетъ, какъ желтая солома», безсмертнаго, всеочищающаго огня, — «въ безсмертіи свѣта, который есть жизнь», огня, къ которому обращается и Давидъ Лейзеръ и герцогъ Спадары, какъ къ Божеству, какъ къ «Великому Господину». Въ другомъ символѣ воплощается «Великій Разумъ», пребывающій «за желѣзными вратами», «въ безмолвіи и тайнѣ» — но характерно, что всѣ эти образы даютъ только поэтическое изображеніе высшей абстракціи, энергіи, объективной законности міра, но нѣтъ въ нихъ той связи субъективнаго и объективнаго, которая лишь на мигъ представилась Василію Ѳивейскому какъ «новый міръ» — «міръ свѣтлыхъ безбоязненныхъ лицъ». Богъ Андреева холоденъ и далекъ, когда же онъ загорается бѣлымъ огнемъ, онъ не творитъ, не рождаетъ, а жжетъ и «пожираетъ камень». Это опять таки не жизнь, а смерть, хотя-бы и смерть «огненная».

Переходя теперь къ міровоззрѣнію Горькаго, мы прежде всего совершенно не находимъ въ его произведеніяхъ той обнаженной мистики, которой такъ много у Андреева. Нельзя утверждать, чтобы

Горькій не испытывалъ самъ и не давалъ у своихъ героевъ мистическихъ переживаній. Напротивъ онъ гораздо больше мистикъ чѣмъ Андреевъ уже потому, что онъ постоянно стремится къ установленію непосредственной живой связи со всѣмъ сущимъ, къ нахожденію единаго и цѣлостнаго потока всей жизни во всей ея полнотѣ и богатствѣ. Для этого особенно характерно тяготѣніе поэта къ многочисленнымъ и самымъ разнообразнымъ описаніямъ природы, въ которыхъ чувствуется самое недвусмысленное дыханіе пантеизма. Въ этомъ отношеніи нельзя не сравнить Горькаго съ Кнутомъ Гамсуномъ. Природа у Горькаго всегда прочувствована извнутри и вмѣстѣ съ тѣмъ дана объективно, за нею вспримиряющая жизнь, самоцѣльная и прекрасная, но никогда не чуждая и не враждебная какъ «матерія», отрицающая «духъ». Человѣкъ въ этой природѣ только гармоническая и необходимая часть великаго цѣлаго. Положительно трудно перечесть, гдѣ лучше и полнѣе Горькій даетъ свою природу какъ внѣшнюю форму единой міровой жизни, бьющейся въ сердцѣ человѣка. Кавказъ и Капри, Черное море и Крымъ южныя степи и Волга, бѣдная средняя Россія съ ея деревнями и «городкомъ

Окуровымъ»—все это буквально живетъ въ смѣнѣ дня и ночи, бури и вёдра, лѣта и зимы, живетъ настолько мощной и великой жизнью, что воистину когда-нибудь будутъ писать спеціальныя монографіи о «Душѣ природы» по Горькому.

Непосредственная связь между человѣкомъ и стихіей дана при этомъ въ своеобразномъ любованіи ея картинами, которое есть вмѣстѣ съ тѣмъ и самоутвержденіе человѣка: «Встали, вышли на солнышко... кланяются золотыя метелки звѣробоя, пряным запахомъ дышетъ буквица и любимая пчелами синь. Поютъ веселыя птицы, гудятъ невидимыя струны; сочный воздухъ лѣса весь дрожитъ, полонъ ласковой музыки, и небо надъ нами—синій, звучный колоколъ изъ хрусталя и серебра»—такъ въ «Лѣтѣ» по словамъ поэта: «красоту даетъ любовь». А ночью, когда «напилась земля за-день солнцемъ» и «крѣпко спитъ, пышно одѣтая въ травы и цвѣты, а лѣса молча сосутъ ея теплую, сочную грудь»—въ это время, «хорошо думается о ней и о мірѣ въ эти часы, точно ты углубилъ корни до сердца земного, и вливается оттуда въ душу твою великая, горячая любовь къ живому». Понятно теперь и чувство странника, идущаго «По Руси» отъ Чернаго

моря: «Идти легко, точно плывешь въ воздухѣ. Пріятныя думы, пестро одѣтыя воспоминанія ведутъ въ памяти тихій хороводъ; этотъ хороводъ въ душѣ—какъ бѣлые гребни волнъ на морѣ, онѣ сверху, а тамъ, въ глубинѣ—спокойно, тамъ тихо плаваютъ свѣтлыя и гибкія надежды юности, какъ серебряныя рыбы въ морской глубинѣ». Здѣсь кавказская ночь имѣетъ и свое особое очарованіе: «въ ней купаешься какъ въ морѣ, и какъ морская волна смываетъ грязь кожи, такъ и эта тихо поющая тьма освѣжаетъ душу. Такими ночами душа одѣта въ свои лучшія ризы и точно невѣста вся трепещетъ, напряженно ожидая: сейчасъ откроется предъ нею нѣчто великое».

Болѣе религіозный характеръ получаетъ связь человѣка съ внѣшнимъ міромъ въ «Исповѣди». Храмомъ здѣсь становится «небо ясное, синія дали, вышитый золотомъ осенній лѣсъ, или зимній—храмъ серебряный». Весною «яблони какъ дѣвушки къ причастію идутъ, голубыя въ серебрѣ луны», лѣтомъ «жизнь кипитъ: земля покрыта изумрудной пѣной травъ, невидимо жаворонки поютъ, и все растетъ къ солнцу въ разноцвѣтныхъ яркихъ крикахъ радости». «Въ поляхъ земля кругла, понятна, любезна сердцу.

Лежишь, бывало, на ней, какъ на ладони, малъ и простъ, словно ребенокъ, теплымъ сумракамъ одѣтый, звѣзднымъ небомъ покрытъ, и плывешь вмѣстѣ съ ней мимо звѣздъ. Насыщается усталое тѣло крѣпкимъ дыханіемъ травъ и цвѣтовъ... И слышишь какъ она дышетъ, хочешь догадаться, какой сонъ видится ей, и какія силы тайно зрѣютъ въ глубинѣ ея, какъ она завтра взглянетъ на солнце, чѣмъ обрадуетъ его, красавица, любимая имъ. Словно таешь, прислонясь ко груди ея, и растетъ твое тѣло, питаясь теплыми и пахучимъ сокомъ милой матери твоей; видишь себя неотрывно, навѣки, земнымъ и благодарно думаешь:—Родная моя!.. Земля подобна кадилу въ небесахъ, а ты уголь и ладанъ кадила»...

Неудивительно, послѣ этого, что воспринимая природу какъ нѣчто живое и близкое, восклицаютъ горьковское герои: «Нѣтъ, друзья мои—поглядите-же какая она прекрасная! Давайте, поклянемся предъ нею въ томъ, что будемъ честно жить!» А парень на Камѣ говоритъ ей: «Эхъ, Кама, матушка родная, люблю! Не сдамъ!» Когда-же весною во время «Ледохода» «гудятъ» и «поютъ колокола», говоритъ человѣкъ Осипъ: «а душа человѣчья—крылата—во снѣ она летаетъ»....

а другой мысленно отвѣчаетъ ему: «крылата? Чудесно!...» Роднымъ чувствуетъ себя человѣкъ въ мірѣ, а отсюда и многократное утвержденіе у Горькаго одной мысли: «Превосходная должность—быть на землѣ человѣкомъ, сколько видимъ чуднаго, какъ мучительно сладко волнуется сердце въ тихомъ восхищеніи передъ красотою». «Хорошо быть человѣкомъ на землѣ» говоритъ герой «Лѣта» на разсвѣтѣ, когда «истекла дождемъ ночь и поблѣднѣла» и «плывутъ надъ лѣсомъ похудѣвшія усталыя тучи». «Весело, внутри весело становится человѣку въ мірѣ. «И сколько вездѣ красоты этой милой» говоритъ «Мать» разсматривая бабочекъ и насѣкомыхъ, «сколько могли-бы взять радости, если-бы знали какъ земля богата, какъ много въ ней удивительнаго живетъ». И подобно тому какъ Лермонтовъ находилъ Бога въ тотъ часъ, когда «волнуется желтѣющая нива», находитъ его и герой Горькаго, когда надъ нимъ «въ синемъ небѣ улыбается солнце, хвастливо распустивъ надъ землею павлиній хвостъ своихъ лучей»: идя «межъ хлѣбовъ» и онъ поетъ «пѣснь Ему, Владыкѣ жизни»!

Неприступный естествомъ
Приступенъ мнѣ бывъ
Въ мене облекохся
Все мое естество освѣтли
И своимъ вознесеніемъ возведе мя
Превыше всякаго начала и власти!

Какъ говоритъ Матвѣй въ «Исповѣди»—«все красивое, божественное родственно душѣ». «Отъ земли-матери и сквозь душу твою жарко проходитъ свѣтлый лучъ надежды: гдѣ-то есть прекрасный Богъ»!

Опытъ подсознательнаго у Горькаго такимъ образомъ не отдѣляется отъ внѣшняго міра, не замыкается въ сферѣ эгоистической грезы, а непосредственно служитъ познанію внѣшняго и сливаетъ я и не я въ высшее и живое единство. Любовь сопутствуетъ вниманію и памяти, богатый составъ подсознательно воспринятыхъ впечатлѣній даетъ возможность «вчувствованія» и олицетворенія, а сосредоточенный въ общей сферѣ комплексъ эмоцій даетъ форму творческаго, непрерывнаго процесса, неустаннаго стремленія,—каждому движенію, каждому явленію окружающей среды. Перенесенный изъ себя во внѣ потусторонній міръ благодаря этому потерялъ свою особность и пронизалъ матерію жизнью, движеніемъ, творчествомъ. Можно подумать, что творческій, любовный инстинктъ Бергсона

ожилъ въ художественномъ изображеніи Горькаго. Однако послѣдній идетъ по болѣе правильному пути, нежели французскій философъ. Мистика Горькаго цѣликомъ ушла и растворилась въ эстетическомъ символѣ. А это очень важно. Вѣдь мистика, обращенная внутрь себя, по существу невыразима. Безъ эстетическаго перевоплощенія она въ символѣ нуждается только развѣ какъ въ сигналѣ для соотвѣтственной тренировки. По существу мистическій символъ ничѣмъ не связанъ съ тѣмъ, что за нимъ скрывается. Таинственное «нѣчто» или «ничто» вполнѣ достаточны для мистическаго намека. Такія переживанія могутъ быть связаны въ равной степени съ любымъ обрядовымъ шаблономъ и предметомъ культа. Не то съ символомъ эстетическимъ. Въ томъ-то и задача его, чтобы выразить по возможности въ исчерпывающей формѣ мистическое содержаніе, исторгнуть изъ темной бездны сверкающую пѣной Афродиту, превратить хаосъ въ гармоническую симфонію. И Горькій нашелъ такой символъ. Богъ какъ міровая любовь, красота и творчество какъ единство и вмѣстѣ неустанное созиданіе—таковъ образъ, который просвѣчиваетъ все время въ его стихіяхъ и природѣ, землѣ и морѣ, цвѣ-

тахъ и звѣздахъ. И такое пониманіе жизни какъ Бога даетъ возможность охватить однимъ понятіемъ и природу и человѣка. Но это уже мистика переработанная, просвѣтленная, выявленная во внѣ.

Если природа была воспринята Горькимъ не только сознательно, но и подсознательно, то тѣмъ болѣе это было ему доступно въ мірѣ чисто человѣческомъ. Въ особенности богатый матеріалъ ему даетъ въ этомъ отношеніи психологія массъ, толпы, народа. И это тѣмъ болѣе, что, какъ извѣстно, массы въ особенности способны къ чисто рефлекторнымъ и автоматическимъ движеніямъ, къ дѣйствію подъ вліяніемъ подражанія и внушенія. Съ этой стороны мы имѣемъ достаточно отрицательныхъ характеристикъ, которыя могутъ быть въ значительной степени дополнены и по Горькому. Ни у кого, какъ у Горькаго не находимъ мы столько образцовъ косности, стаднаго звѣрства, дикаго фанатизма и мертвой обрядовой вѣры. Но поэтъ нашъ и здѣсь становится на своеобразно—эстетическую точку зрѣнія и выявляетъ такія стороны массовой психологіи, которыя могутъ быть даны отнюдь не чисто-теоретическимъ, внѣшнимъ ея изученіемъ, но только глубокимъ

проникновеніемъ въ подсознательное я коллективной души.

Въ «Исповѣди» разсказываетъ Матвѣй о томъ, какъ слились для него всѣ лица слушавшихъ его «въ одно большое грустное лицо; задумчиво... и упрямо» показалось оно, «на словахъ—нѣмотно, но въ тайныхъ мысляхъ—дерзко, и въ сотнѣ глазъ его... неугасимо горитъ огонь, какъ-бы родной душѣ» его. «Сладкое сознаніе духовнаго родства каждаго со всѣми» рождаетъ въ массѣ «неодолимую чудотворную силу». «Избытокъ въ человѣкѣ жизненной силы его» даетъ вѣру, «великое чувство и созидающее», огромна она и «всегда тревожитъ юный разумъ человѣческій, побуждая его къ дѣянію». Отсюда «неисчислимый міровой народъ», народъ безсмертный и «есть начало жизни единое и несомнѣнное», «богостроитель», «отецъ всѣхъ боговъ бывшихъ и будущихъ». Сліяніе съ народомъ этимъ возможно и въ каждой малой части его: «стою, говоритъ Матвѣй, въ кругу людей», и вдругъ «всѣ начнутъ съ полуслова понимать меня... и они какъ бы тѣло мое, а я ихъ душа и воля, на этотъ часъ. И рѣчь моя—ихъ голосъ... самъ живешь, какъ часть чьего-то тѣла, слышишь крикъ души своей изъ другихъ устъ»... И

совершенно правильно сближаетъ такое «сліяніе съ людьми» герой «Исповѣди» съ «единеніемъ съ Богомъ въ молитвахъ», только въ послѣднемъ случаѣ онъ «исчезалъ изъ памяти своей, переставалъ быть», «уходя отъ себя», а въ первомъ наоборотъ «какъ-бы выросталъ, возвышался надъ собою, и увеличивалась сила духа... во много разъ».

Описанія мистическаго единенія массы у Горькаго прямо классическія и ихъ смѣло можно ввести въ любое руководство по психологіи толпы также какъ Достоевскій въ свое время далъ образцы эпилепсіи и истеріи. Но Горькій не довольствуется только тѣмъ положеніемъ, что чѣмъ больше единеніе, тѣмъ больше и коллективная сила, его интересуетъ опять таки вопросъ объ объединеніи «сердца» и «разума», подсознательной души народа и его сознательной и планомѣрной организаціи. И поскольку въ своей повѣсти «Мать», нашъ поэтъ становится подъ знамя совершенно опредѣленнаго теченія, которое стремится къ научно обоснованному руководству пролетаріата, постольку-же онъ все время подчеркиваетъ необходимость сочетанія моральности и цѣлесообразности, вѣры и расчета, чувства и мысли. «Въ томъ и

горе и скорбь и все несчастіе человѣковъ, говоритъ Рыбинъ въ «Матери»,— оторваны мы всѣ стали сами отъ себя! Откинуто сердце отъ разума, и разумъ отошелъ... Не единъ человѣкъ... Богъ соединяетъ человѣка во единое, круглое... Богъ въ сердцѣ и разумѣ»... «Разумъ силы не даетъ... сердце даетъ силу, а не голова, вотъ!». И поскольку участники соціалистическаго движенія, нарисованнаго въ «Матери» меньше всего люди голаго расчета, мертваго раціонализма и фанатической узости, постольку-же они обладатели любящаго чуткаго сердца, высокой морали и вѣры въ правду. Естественнымъ поэтому является изображеніе всего процесса борьбы въ краскахъ и чертахъ не только борьбы за классовый интересъ пролетаріата или его хозяйственныя блага, но глубоко идейнаго и культурнаго движенія, захватившаго всю душу вплоть до созданія новой вѣры и новаго конечнаго идеала.

Вотъ почему нарисованная въ «Матери» великая народная драма проникнута такими духовными, почти религіозными чертами. Не разъ героиня повѣсти, «за словами, отрицавшими Бога», чувствовала «крѣпкую вѣру въ Него», и хоть «стала меньше молиться, но все больше

думала о Христѣ и о людяхъ, которые не упоминая имени Его, какъ будто даже не зная о Немъ, жили, казалось ей по Его завѣтамъ... И ей казалось, что самъ Христосъ, котораго она всегда любила смутной любовью—сложнымъ чувствомъ. гдѣ страхъ былъ тѣсно связанъ съ надеждой, и умиленіе съ печалью—теперь сталъ ближе къ ней и былъ уже инымъ—сталъ выше и виднѣе для нея, радостнѣе и свѣтлѣй лицомъ». Вотъ почему народное движеніе въ самыхъ, казалось-бы, свѣтскихъ формахъ своихъ то принимаетъ формы «крестнаго хода» во имя «Бога свѣта и правды, Богъ разума и добра», то сравнивается съ «утреней на большой праздникъ», когда «понемножку гонятъ темноту, освѣщая Божій домъ», причемъ «Божій домъ—вся земля», то сливается съ рожденіемъ новаго Бога, съ Христовой правдой, съ великой вселенской жизнью, гдѣ «Все для всѣхъ, всѣ для всего, вся жизнь—въ одномъ въ каждомъ вся жизнь!», то наконецъ гудитъ и переливается въ «звонѣ праздничномъ со всѣхъ церквей земли».

Для Горькаго нисколько не страшно такое сочетаніе Бога и разума, сердца и мысли. И если можно въ извѣстномъ смыслѣ назвать Горькаго мистикомъ, то

лишь въ томъ благороднѣйшемъ смыслѣ слова, въ которомъ мистикомъ является всякій человѣкъ дѣйствія, а слѣдовательно и вѣры, всякій, кто стоитъ въ мірѣ, а не внѣ его. Чрезвычайно показательны здѣсь для нашего истинно-народнаго поэта его образы, рисующіе намъ отношенія народа къ Богу, въ особенности-же молитва у цѣлаго ряда его героевъ. Справедливо отмѣтилъ уже Мережковскій два основныхъ типа такой молитвы—одну молитву дѣйственной любви, которая есть просвѣтленіе міра Богомъ, другую—молитву себялюбца и обрядника, которая есть попытка использовать лишь для себя божественныя силы. Противоположеніе это дано и у величайшаго знатока народной мистики, у Достоевскаго, въ его «Братьяхъ Карамазовыхъ», въ образахъ старца Зосимы и самоумерщвляющаго себя подвижника аскета. Пользуясь образами горьковскаго «Дѣтства», можно съ Мережковскимъ сказать, что это противоположность Бога «бабушки» и «дѣдушки». И если Богъ «дѣдушки» намъ хорошо знакомъ уже по произведеніямъ Андреева, то настоящаго Бога «бабушки» мы можемъ найти только у Горькаго.

Уже самъ способъ молитвы, какъ бе-

сѣды съ Богомъ, который не разъ приводится Горькимъ въ его произведеніяхъ, показываетъ на величайшую близость жизни и Божества въ народномъ представленіи: «Сидитъ Господь на камнѣ, разсказываетъ про него «бабушка», среди міра райскаго, на престолѣ синя камня яхонта, подъ серебряными липами, а тѣ липы цвѣтутъ весь годъ кругомъ», и летаютъ съ неба на землю и обратно ангелы во множествѣ—«какъ снѣгъ идетъ, али пчелы роятся,—али-бы бѣлые голуби летаютъ» и «обо всемъ Богу сказываютъ про насъ, про людей» и «Господь ко всѣмъ ровенъ», «и всѣмъ Онъ воздаетъ по дѣломъ—кому горемъ, кому радостью». Это Богъ любви и правды, Богъ жизни и ласки. Онъ даже не все знаетъ о людяхъ «Кабы все то зналъ, такъ-бы многаго, поди, люди-то не дѣлили-бы», Онъ плачетъ иногда о людяхъ своихъ: «Люди вы Мои, люди, милые Мои люди! Охъ, какъ Мнѣ васъ жалко!» Ему «бабушка подробно разсказываетъ»... обо всемъ «что случилось въ домѣ», она даже «совѣтуетъ Богу своему: наведи ко Ты, Господи, добрый сонъ на него (дѣдушку) чтобы понять ему, какъ надобно дѣтей-то дѣлить... Варварѣ-то улыбнулся-бы радостью какой! Чѣмъ она тебя про-

гнѣвала, чѣмъ грѣшнѣй живетъ? Что это: женщина молодая, здоровая, а въ печали живетъ: И вспомни, Господи, Григорья,—глаза-то у него все хуже. Ослѣпнетъ, — по міру пойдетъ, не хорошо»!

Къ этому культу жизни и любви достойно присоединяется не менѣе наивный, не менѣе поэтическій культъ радости и счастья, обращенный къ Мадоннѣ. Молится Богородицѣ и бабушка и зоветъ ее всѣми ласковыми именами, какія только сердце ея создать можетъ: «Радости источникъ, Красавица Пречистая, яблоня во цвѣту». Молится ей, материнству обожествленному, и народъ Капри, празднуетъ день Рождества и несутъ дѣвочки статую Мадонны,—«Gloria, Madonna, gloria». Особыхъ добрыхъ бѣсовъ, помилованныхъ Христомъ, создаетъ на Руси фантазія странника,—Зміулана, Димона, Игамона и Гимана, изъ нихъ послѣдній хохотать и смѣшить любитъ, и въ веселомъ, полуязыческомъ праздникѣ развертывается мистическое «дѣйство» въ Италіи, гдѣ изображаютъ особо выбранные красивые и добрые люди на площади Христа, Богоматерь и Іоанна. Религіи ужаса и страха здѣсь рѣзко противополагается другая, счастья и радости. Это

религія еще не нашедшая своего высшаго моральнаго завершенія. Но уже въ ней живетъ любовь; она еще не объединила людей въ братство борьбы и свободы, но она уже поднялась до утвержденія жизни и оправданія ея. Въ такой религіи еще не разрѣшенъ вопросъ, который ставятъ герои Горькаго не менѣе, чѣмъ герои Достоевскаго—почему, если Богъ всемогущъ и добръ, міръ его такъ ничтоженъ и золъ? Но уже предчувствуется его разрѣшеніе, такъ-какъ рядомъ со зломъ растетъ и доброе, правда не меркнетъ отъ зла, а жизнь все льется впередъ, за сегоднешнимъ днемъ подымается будущее: Какъ на праздникѣ въ Капри оретъ извозчикъ Карло Бамболя:

Видишь, какъ горитъ на небѣ
Лучезарное свѣтило?
Пусть вотъ также разгорится
Наша жизнь темно и ярко.

Какъ очевидно, божественный символъ во-всѣхъ этихъ случаяхъ лишь прикрываетъ собой болѣе чѣмъ земное содержаніе. Простые люди соціальныхъ низовъ не нашли еще тѣхъ различныхъ и тонкихъ словъ, которыми они могли-бы вѣрно и точно опредѣлить свои понятія. Символика ихъ груба, поэзія отличается прео-

обладаніемъ разъ навсегда принятыхъ и установленныхъ образовъ, она мистична потому, что здѣсь за каждой и выраженной формой тянется какъ свѣтлый слѣдъ подводнаго теченія несказанное и невыраженное. Это даже не образы, а намеки, предлоги. Но чутко разгадалъ Горькій вокругъ кождаго изъ нихъ какъ особую духовную атмосферу цѣлые вихри разноцвѣтныхъ и живыхъ переживаній и раскрылъ въ нихъ горячую волну любви и ненависти, страсти и надежды. И когда онъ въ упомянутой выше статьѣ своей требуетъ для народа, для общества и страны—разума, а не мистики, онъ правъ со своей точки зрѣнія. Та здоровая мистика народа, которая даетъ ему силу жизни, широту любви и подъемъ творчества, отъ этого не угаснетъ. Но какъ ненужная шелуха отпадетъ мистическій символъ, замѣняющій собою до поры до времени ясное и точное слово.

Горькій изъ народа и онъ знаетъ свою мать. А народъ тѣмъ и несчастливъ, что за неимѣніемъ лучшаго, задавленный и заторканный, онъ принужденъ былъ пользоваться мистическимъ символомъ и для техническаго знанія и для соціальной борьбы и для своей художественной и нравственной правды. Такъ создалась

уже не мистика, а мистическая идеологія, не адэкватное знаніе или полнота и законченность художественнаго образа, а капище съ застывшими и свирѣпыми идолами, не живая, вѣчно рождаемая форма, а обрядъ и мертвая буква съ одной стороны и полный разрывъ между жизнью и правдой съ другой. Въ томъ-то и страшное значеніе мистической организаціи, что привязанныя къ ней силы всюду повернуть можно, что за каждымъ изъ ея символовъ, знаковъ и сигналовъ находится бездна, которую съ такимъ-же удобствомъ возможно наполнить міріадами херувимовъ, какъ и тьмами темъ кровавыхъ діаволовъ.

Не противъ мистики протестуетъ Горькій, ибо никто какъ онъ не знаетъ ея истинной здоровой сущности, а противъ мистики больной и извращенной, не Жизнь уничтожаетъ, а боговъ, и не хочетъ онъ разумомъ исчерпать того, что доступно лишь свѣтлому художеству. Но тысячу разъ правъ онъ, когда изъ плѣна темной двусмысленной символики выводитъ онъ душу народную, освобождаетъ ее отъ присосавшихся къ ней змѣй и требуетъ, чтобы неисчерпаемой силѣ народной были даны пути и формы, свѣтъ и просторъ; настоящій языкъ и настоящій, крѣпкій

рычагъ для духовной побѣды. Горькій-поэтъ, показалъ намъ то подлинное и живое, что скрывается за старой миѳологіей, монастырскими стѣнами и шептаньемъ изувѣровъ. Горькій публицистъ потребовалъ, чтобы для заточеннаго въ подземелье богатыря были широко раскрыты ворота и построенъ новый свѣтлый домъ. Иначе онъ и поступить не могъ.

II.

Андреевъ какъ художникъ. — Его стиль и общественная фантастика. — Человѣкъ-звѣрь и міровая тюрьма. — Сверхчеловѣчество. — Мѣщанство у Горькаго. — Его психологическій музей. — Женщина. — Лишніе люди. — Романтики. — Религія труда. — Оптимизмъ Горькаго.

Больная мистика Л. Андреева должна была имѣть неизбѣжное вліяніе и на самое творчество поэта. Въ силу разрыва между «разумомъ» и «сердцемъ» онъ не только долженъ былъ придти къ тяжелымъ выводамъ пессимистическаго міровоззрѣнія, но какъ художникъ, онъ долженъ былъ заплатить самымъ характеромъ своего творчества за болѣзнь своей страдающей души.

И въ самомъ дѣлѣ. Отвергнувъ непосредственное ощущеніе жизни помимо сознанія, онъ этимъ самымъ поставилъ себя въ необходимость отречься и отъ полнаго, цѣлостнаго ея отображенія. Вѣдь тѣмъ, что Андреевъ отказался отъ признанія смысла за «хаосомъ» и «темнымъ инстиктомъ», онъ прежде всего себя какъ художника поставилъ въ тяжелое положеніе. Вѣдь «хаосъ» отъ этого не пересталъ существовать. И болѣе того, Андреевъ, какъ великій художникъ не пересталъ этотъ «хаосъ» ощущать. Отрицаніемъ онъ не могъ снять съ себя и обязанности изобразить этотъ «хаосъ» въ своихъ художественныхъ про-

изведеніяхъ, такъ какъ «хаосъ» и есть сама жизнь въ непосредственномъ подсознательномъ міроощущеніи. Вѣдь задача художника и состоитъ въ томъ, чтобы освѣтить этотъ хаосъ, поднять его изъ темной глубины, влить въ художественный символъ и притомъ сдѣлать это на столь совершенно, чтобы самъ символъ сталъ жить, сталъ завершеннымъ, и не осталось-бы за нимъ какой то темной тѣни, таинственнаго двойника, какъ это мы встрѣчаемъ сплошь и рядомъ у различныхъ больныхъ мистиковъ и символистовъ. У нихъ вѣдь всегда за рожденнымъ словомъ звучитъ не рожденное, за одной сценой чудится другая, а за блѣдными и туманными намеками колеблется таинственная призрачная бездна.

Разрывъ между жизнью и разумомъ и въ другомъ отношеніи готовилъ Андрееву тяжелое испытаніе. Отрицая за подсознательнымъ опытомъ его значеніе, создатель «Анатэмы» этимъ самымъ въ значительной степени отдалялъ себя отъ жизни въ ея непосредственномъ воспріятіи, отъ близкаго и непрестаннаго съ ней соприкосновенія. Разумъ воспринимаетъ шаблонно и отвлеченно и лишь мистическое сердце наше способно по-

нимать жизнь въ ея непрестанномъ разнообразіи, своеобразіи и оригинальности. И если задача художника быть конгеніальнымъ жизни, выразить значительное, цѣнное и важное именно въ ея неисчерпаемой новизнѣ и неповторяемой оригинальности, то какъ разъ Андреевъ безмѣрно затруднилъ для себя эту задачу. Искусственно уходя въ міръ отвлеченныхъ схемъ и придуманныхъ символовъ, онъ необходимо этимъ самымъ ставитъ барьеръ между своимъ творчествомъ и жизнью. Отсюда неизбѣжно болѣзненная блѣдность и неоригинальность символовъ. Ибо онъ смотритъ на дѣйствительность не непосредственно, а черезъ обобщающій и шаблонирующій разумъ. И чтобы не пойти путями мистическаго символизма съ его міромъ двойниковъ, Андрееву оставалось одно—и это при помощи сгущенія красокъ, обостренія свѣто-тѣни и преувеличенности образовъ даже ихъ каррикатурности настолько усилить яркость своихъ символовъ, чтобы этимъ была восполнена слабость непосредственнаго жизнеощущенія.

Андреевъ такъ и поступилъ. Искусственно созданной оригинальностью онъ восполнилъ шаблонность и бѣдность вос-

пріятія. Нагроможденіемъ внѣшнихъ чертъ онъ замѣнилъ слабость внутренняго освѣщенія. Цѣнность и значительность жизненныхъ явленій въ ихъ неподражаемой оригинальности была замѣнена болѣе общими идеями, разумными цѣнностями, уже выработанными философіей, и этимъ путемъ былъ созданъ особый «андреевскій» стиль, который получилъ характеръ идейно-отвлеченного содержанія, влитаго въ искусственныя формы преувеличеннаго, кричащаго символа. И мы должны отдать справедливость художнику. Благодаря широкому использованію философскихъ идей, яркой раскраскѣ образовъ, рѣзкимъ очертаніямъ фигуръ, удивительной декоративности и театральности повѣствованія ему въ значительной степени удалось восполнить недостатки чисто-художественнаго изображенія. Въ концѣ концовъ онъ не смогъ обойтись и безъ мистической символики. Но окрашенная философскимъ умозрѣніемъ она приняла болѣе отчетливый, хоть и холодный видъ, а все творчество этого писателя стало образцомъ художественно-разработанной идеологіи въ причудливо-стильной разработкѣ.

Было-бы смѣшно утверждать, что у такого крупнаго художника, какъ Андреевъ.

будто-бы вовсе отсутствуетъ сфера непосредственнаго жизнеощущенія и воплощенія его въ искусствѣ. Наоборотъ рядомъ съ широкимъ потокомъ идейно-трагической поэзіи у него постоянно отвѣтвляются отъ общаго источника малые, но интересные ручьи бытовыхъ произведеній. Въ нихъ «хаосъ» жизни воплощенъ вполнѣ. Но зато въ нихъ и отсутствуетъ совершенно тотъ характеръ культурной цѣнности, который свойственъ его крупнымъ вещамъ. Болѣе того, они настолько лишены какого-бы то ни было критерія художественной значительности, что представляютъ собой почти фотографическіе снимки съ довольно таки неопрятныхъ «дней нашей жизни» и различныхъ ея уголковъ. Немало этому помогаетъ и то обстоятельство, что сводя мистику къ хаосу, Андреевъ совершенно не былъ въ состояніи понять любви, которая есть, правда, въ громадной части существа своего мистика, но не хаосъ. Ибо здѣсь мы встрѣчаемся съ подсознательной жизнью великаго творческаго инстинкта, цѣлесообразнаго въ основномъ стремленіи своемъ. Конечно, если подходить къ любви исключительно съ точки зрѣнія хаоса или внѣшняго «соблазна» полового акта, то кромѣ порно-

графіи ничего и не получится. А женское начало, обезпложенное и лишенное оправданія въ материнствѣ, ничего кромѣ распутной Анфисы, несчастной Оль-Оль и траурной кокотки — Екатерины Ивановны, ничего и дать не можетъ.

Но андреевскій «стиль» имѣетъ и одно громадное преимущество. Благодаря своимъ особенностямъ онъ удивительно подходитъ для выраженія тѣхъ идей и настроеній, которыя въ наши дни организуютъ общественную жизнь, даютъ ей видимую внѣшнюю законченность, формально исчерпываютъ ее. Вѣдь, нельзя не признать, что какъ разъ наша эпоха отмѣчается особымъ пристрастіемъ къ довольно сомнительному раціонализму, призрачной положительности и одностороннему крайне узкому пониманію явленій. Съ тѣхъ поръ какъ товарно-капиталистическое производство наложило свою руку на жизнь въ цѣломъ, организаторы ея изо всѣхъ силъ стремились убѣдить человѣчество, что эгоизмъ есть единственный естественный рычагъ общественности, что установленный ими культъ рынка и внѣшняго принудительнаго права—неизбѣжный и единственный оплотъ порядка, и что одна только безпощадная борьба за существованіе мо-

жетъ гарантировать надлежащій подборъ «лучшихъ». Не исчерпывая милліонной доли реальныхъ возможностей, не расходуя сотой доли имѣющихся силъ, эта система, понимающая людей какъ враждебныхъ другъ другу индивидовъ, желаетъ всю жизнь загнать въ рамки корысти и злобы, весь міръ представить какъ сочетаніе съ одной стороны натуральныхъ точно перечисленныхъ страстей, а съ другой—столь-же необходимо и научно признаннаго «рока». Нечего и говорить, что по этой системѣ «рокъ» нисколько не препятствуетъ вырабатываться разнымъ сверхчеловѣкамъ въ видѣ Ротшильдовъ и Вандербильтовъ.

Каждый общественный строй имѣетъ свою религію и свою молитву и стремится увѣрить людей, что кромѣ его Аллаха и Магомета нѣтъ другихъ боговъ, и кромѣ его парадиза нѣтъ спасенія. Совершенно естественно, что классовое и капиталистически организованное общество не менѣе другого стремится къ утвержденію своей вѣры въ изолированнаго одинокаго человѣка, въ правду единаго спасительнаго рубля и въ рай сильнаго хищника, славнаго побѣдителя въ звѣриной борьбѣ, который затѣмъ овладѣваетъ міромъ, такъ-какъ будто-бы,

все продается и все покупается, а онъ все купить можетъ. Но горе тѣмъ, кто искренне повѣритъ въ эту столь искусственно придуманную природу, кто начнетъ и на дѣлѣ уродовать себя, лишьбы подойти, приспособиться къ такой воистину фантастической «реальности». Онъ будетъ служить призракомъ и фантазмамъ, лить горячую «реальную» кровь на бутафорскіе алтари несуществующихъ чудовищъ.

Принять вѣру современнаго буржуазнаго общества — это значитъ поставить передъ собой альтернативу — или-или. Или воспользоваться ею, стать самому хищникомъ и предпринимателемъ, или обречь себя на жертву безъ права сопротивленія, безъ выхода и входа внѣ предустановленныхъ рынкомъ дверей, безъ пользованія и примѣненія оружія, изготовленнаго внѣ торжища купли-продажи. Это послѣднее положеніе воистину трагично. Быть жертвой и не имѣть ни малѣйшей надежды на спасеніе—это какъ разъ тотъ ужасъ безнадежности, который съ такой силой поражаетъ мѣщанскіе низы современнаго буржуазнаго общества. Вся разгадка судьбы мѣщанства въ томъ, что будучи зажато, задавлено современнымъ господствомъ рынка, бу-

дучи обезображено и изуродовано его властью, оно тѣмъ не менѣе не можетъ отрѣшиться отъ вѣры въ его боговъ, наоборотъ искренне считаетъ себя отвѣтственнымъ за то, что недостаточно прониклось этой вѣрой, не идетъ до конца въ утвержденіи реальности его міра. Вотъ здѣсь-то и рождается то раздвоеніе внутри себя, то разъединеніе внутренняго и внѣшняго, сердца, и разума, сознательнаго и подсознательнаго, которое мы съ такой яркостью можемъ отмѣтить на самомъ Андреевѣ.

Крѣпко вѣрующій въ буржуазныхъ боговъ и нынѣ перешедшій изъ рядовъ мѣщанской трагедіи въ ряды счастливцевъ и побѣдителей жизни, никто какъ Андреевъ не могъ съ такой отчетливостью и яркостью изобразить современную мѣщанскую вѣру. Его герой—типичный индивидъ нашей капиталистической культуры, бѣшенной борьбы за существованіе и жаднаго ненасытнаго эгоизма—звѣрь, который постольку лишь чувствуетъ себя индивидомъ, поскольку ему присущъ индивидуальный аппетитъ. Такимъ рисуетъ намъ его Андреевъ. И этотъ звѣрь по мнѣнію поэта одинаковъ въ мѣщанскомъ подпольѣ пьяной и грязной жизни, въ пролетарской средѣ

«Царя-Голода», въ революціонномъ народѣ французской революціи—подъ пессимистическимъ девизомъ: «Такъ было, такъ будетъ»,—въ средѣ общества туристовъ, наконецъ вездѣ, гдѣ только появляется современный человѣкъ. Подъ культурной оболочкой образованнаго юноши просыпается звѣрь «въ безднѣ», празднуетъ звѣрство свой праздникъ въ публичныхъ домахъ «Тьмы», наконецъ достигаетъ высшихъ ступеней въ «Красномъ Смѣхѣ», гдѣ одинъ изъ героевъ прямо говоритъ: «Только теперь я понялъ великую радость войны, это древнее первичное наслажденіе убивать людей — умныхъ, хитрыхъ, лукавыхъ, неизмѣримо болѣе интересныхъ, чѣмъ самые хищные звѣри... Кровавый пиръ—въ этомъ нѣсколько избитомъ сравненіи кроется сама правда. Мы бродимъ по колѣно въ крови и голова кружится отъ этого краснаго вина». И война вовсе не дѣлаетъ людей такими: стоитъ крикнуть въ театрѣ «пожаръ» и «судорога безумія охватитъ ихъ спокойные члены. Они вскочатъ, они заорутъ, они завоютъ какъ животныя, они забудутъ, что у нихъ есть жены, сестры и матери, они начнутъ метаться... и въ безуміи своемъ будутъ душить другъ друга этими бѣлыми пальцами, отъ ко-

торыхъ пахнитъ духами... они будутъ душить, топтать ногами, бить женщинъ по головамъ... они будутъ отрывать другъ у друга уши, отгрызать носы, они изорвутъ одежду до голаго тѣла и не будутъ стыдиться, такъ-какъ они безумны... ибо они всегда убійцы, и ихъ спокойствіе, ихъ благородство — спокойствіе сытаго звѣря, чувствующаго себя въ безопасности».

Единственное, что можетъ сдержать этихъ грязныхъ и кровожадныхъ скотовъ—это «порядокъ», «торжество закона и порядка», намордникъ, тюрьма, и «священная формула желѣзной рѣшетки». И дѣйствительно, уже городъ самъ по себѣ, какъ центръ современной жизни, являетъ «что-то упорное, непобѣдимое и равнодушно-жестокое. Колоссальной тяжестью своихъ каменныхъ раздутыхъ домовъ» городъ давитъ землю, и задыхается человѣкъ, мечется «по этимъ улицамъ, задохнувшимся, замершимъ въ страшной судорогѣ и все не выйти» ему «изъ линіи толстыхъ каменныхъ домовъ». Такой-же тюрьмой является и вся жизнь прикованнаго къ механическому однообразному труду человѣка, это—«длинный, сѣрый и узкій коридоръ, лишенный воздуха и свѣта», это «узкая клѣтка», и

«часты и толсты» «ея желѣзныя прутья». И въ каменныхъ «могилахъ» города по словамъ «Саввы» живутъ «только рабы». «И на всемъ, что я видѣлъ говоритъ онъ, лежитъ печать глупости и безумія». Въ «Моихъ запискахъ» воспѣтъ настоящій гимнъ тюрьмѣ ея обожателемъ: «не есть ли это проявленіе какого-то иного, высшаго закона, по которому безграничное постигается человѣческимъ умомъ лишь при непремѣнномъ условіи введенія его въ границы, напримѣръ включенія его въ квадратъ», и съ этой точки зрѣнія тюремная рѣшетка «схвативъ въ свои желѣзные квадраты безконечное», являетъ собою «образецъ величайшей цѣлесообразности, красоты, благородства и силы». Никогда «не теряетъ вида мрачной и угрюмой мрачности» тюрьма «и непрестанно напоминаетъ людямъ, что законы существуютъ, и нарушителей ихъ ждетъ кара, кара, кара». И если о чемъ мечтаетъ герой «Жизни человѣка», то о такой-же тюремной идилліи пошлости и обыденности въ собственномъ домѣ, гдѣ «будутъ толстыя каменныя стѣны»...

Воистину ужасенъ человѣкъ и его идеалъ, изображаемый Андреевымъ. И тѣмъ безотраднѣе его положеніе, что нѣтъ

вѣры хотя-бы въ будущее, въ какой-нибудь прогрессъ, законы восходящей эволюціи—вѣдь легче было-бы переносить горести одному поколѣнію въ надеждѣ, что хотя-бы слѣдующимъ станетъ лучше и благообразнѣе станетъ ихъ жизнь. У героевъ Андреева этого нѣтъ совсѣмъ. «Суровый и загадочный рокъ», «зловѣщая и таинственная преднамѣренность»,—благодаря ихъ страшной власти жизнь становится «безсмысленной, тупой и дикой», «фантастически и шутовски» сцѣпляются «въ ней маленькій грѣхъ и большое страданіе, крѣпкая, стихійная воля къ такому-же стихійному могучему творчеству—и уродливое прозябаніе гдѣ-то, на границѣ между жизнью и смертью». Не прогрессъ и процвѣтаніе, а «дикую насмѣшку и глумленіе» видитъ въ своей судьбѣ о. Василій Ѳивейскій. «Такъ было, такъ будетъ»—вотъ единственный выводъ изъ этого міра случайностей, гдѣ самое великое и прекрасное, какъ жертва Давида Лейзера въ «Анатэмѣ» превращается въ невѣроятную пошлость, на самой могилѣ Давида водворяется ложь и нетерпимость, а смыслъ жизни оказывается запертымъ «за желѣзными вратами угнетающими землю своей неимовѣрной тяжестью».

Такъ и должна представляться жизнь одинокому, изолированному индивиду мѣщанскаго общества, который не сознаетъ своей связи съ прошедшимъ и будущимъ, не чувствуетъ ни малѣйшей солидарности съ ближними своими, такими-же волками,какъ онъ самъ, и смотритъ на весь міръ черезъ знаменитый квадратъ желѣзной рѣшетки, въ которую онъ заперъ «вѣчность». Увы, ничего другого, и не можетъ дать однобокій раціонализмъ, все опредѣляющій числомъ, мѣрою и вѣсомъ, привыкшій на торжищѣ измѣрять жизнь однимъ количествомъ, замѣнившій формальной математикой—а то бухгалтеріей—коллективное мироощущеніе. Въ лучшемъ случаѣ можетъ такой индивидъ увлечься «небесной механикой» по образцу астронома «къ звѣздамъ» и мечтать теоретически о «дальнихъ». Единственный разъ, когда сталъ Андреевъ на правильный путь, это когда онъ нарисовалъ намъ въ той-же пьесѣ рабочаго Трейча, который олицетворяетъ въ себѣ не одну любовь къ ближнимъ, но и тотъ разумъ, который не только подсчитываетъ и взвѣшиваетъ, но творитъ новую жизнь.

Пьеса «Къ звѣздамъ», къ сожалѣнію только эпизодъ въ творчествѣ Андреева.

Да и здѣсь его герои не могутъ совсѣмъ отрѣшиться отъ путъ индивидуализма. Общимъ правиломъ остается все-же одинокій индивидъ и лишь въ этой формѣ пробуетъ Андреевъ выбиться къ идеалу. Таковымъ является для него «Сверхчеловѣкъ» въ его россійскомъ олицетвореніи. Будучи въ значительной степени ученикомъ Гартмана и Шопенгауэра въ своей философіи «хаоса» и безсознательнаго, въ этой стадіи нашъ поэтъ становится послѣдователемъ Ницше. И это понятно. Только сверхчеловѣческая мощь и напряженіе, необычная воля можетъ поднять на себя тяжесть безсмысленной жизни, преодолѣть силу давящаго рока и ниспровергнуть міровую тюрьму. Конечно, рѣшеніе поставленной Андреевымъ задачи допускаетъ и другой выходъ: и если одинокій человѣкъ не можетъ единичными усиліями своими выбиться изъ тисковъ «безумія и ужаса», то, казалось-бы, это становиться вполнѣ возможнымъ для организованной массы, для коллектива. Какъ разъ коллективъ обладаетъ и силами и волей, далеко превосходящими отдѣльную изолированную особь. Но Андреевъ не вѣрить въ массу и не знаетъ ея. Для него существуетъ только индивидъ, и чтобы послѣдній могъ совершить подвигъ

освобожденія, онъ долженъ стать Самсономъ. Религія сверхчеловѣчества поэтому необходимое и послѣдовательное завершеніе всего андреевскаго міросозерцанія.

И одна другой трагичнѣе встаютъ передъ нами фигуры андреевскихъ сверхлюдей. Здѣсь и священникъ, вотще творящій чудо, и революціонеръ, ожидающій казни, и Савва, предающій міръ огненной смерти и Іуда, мнившій себя единымъ—истиннымъ послѣдователемъ Христа, и Хаггартъ, пиратъ, презирающій рабьи души и клоунъ «получающій пощечины»,—но всѣ они одинаково обреченные и погибающіе, титаны, бросающіе вызовъ небесамъ, одинокіе страдальцы, которые предпочли «вольную смерть» рабьей жизни. Нельзя сказать, чтобы эти гордыя души не дѣлали попытокъ сблизиться съ массой, увлечь ее, подвинуть на дѣло освобожденія духа. Но всѣ ихъ попытки разбиваются о тупость и низость «безликихъ», презрѣнной, трусливой толпы. Правда, сверхчеловѣки стремятся къ дѣяніямъ столь-же эффектнымъ какъ и быстрымъ, имъ, что называется, «вынь, да положь», имъ нужны результаты, которые они сами могли-бы сейчасъ-же измѣрить и оцѣнить, а съ другой-же стороны нельзя не видѣть въ ихъ

манерахъ и обращеніи къ «черни» и нѣкотораго высокомѣрія, по крайней мѣрѣ довольно обидной для «безликихъ» жалости. Во всякомъ случаѣ у всѣхъ этихъ сверхлюдей одинъ неизбѣжный конецъ. Замкнутые въ рамки призрачныхъ и подложныхъ цѣнностей, охваченные цѣликомъ идеей индивидуальной борьбы, они искупаютъ свою ошибку трагической гибелью, которая лишній разъ доказываетъ старую истину, что «одинъ въ полѣ не воинъ».

Непреодолимая стѣна, раздѣляющая «безликихъ» и «сверхъ-людей», нигдѣ, кажется, не обнаруживается у Андреева такъ ярко, какъ именно на лучшихъ представителяхъ его героевъ въ противоположность толпѣ. Таковъ, безспорно, Вернеръ изъ «Семи повѣшенныхъ», отдающій жизнь свою за свободу и счастье ближнихъ, революціонеръ, ожидающій смерти. И что-же?.. Даже здѣсь, этотъ человѣкъ, такъ горячо ощущающій въ тюрьмѣ связь со своими друзьями и товарищами, тѣмъ не менѣе сверху внизъ, съ какой-то особой высоты смотритъ на человѣчество и лишь ласково и любовно снисходитъ къ нему какъ къ ребенку: «онъ увидѣлъ ясно, какъ молодо человѣчество, еще вчера только звѣремъ завы-

вавшее въ лѣсахъ, и то, что казалось ужаснымъ въ людяхъ, непростительнымъ и гадкимъ, вдругъ стало милымъ, какъ мило въ ребенкѣ его неумѣнье ходить походкой взрослаго, его безсвязный лепетъ, блистающій искрами геніальности, его смѣшные промахи, ошибки и жестокіе ушибы». И такое отношеніе Вернера къ людямъ неудивительно: вѣдь, рисуетъ же его поэтъ «холоднымъ и надменнымъ, усталымъ и дерзкимъ», «гордымъ и властнымъ», который смотритъ на жизнь и въ послѣднія минуты свои какъ-бы поднявшись «на воздушномъ шарѣ». Ахъ, если-бы у андреевскихъ «сверхлюдей» было поменьше жалости къ людямъ, но побольше уваженія къ нимъ! А вѣдь точно такими чертами обрисованъ у него и революціонеръ Николай, который разноситъ «холодъ по всему своему пути» и заставляетъ «людей думать о себѣ такъ, точно они сейчасъ совершили что-то очень нехорошее и даже преступное, и ихъ будутъ судить и наказывать», «ненавидитъ» онъ всю «нашу жизнь» и въ концѣ концовъ уходитъ отъ людей...

Безспорной заслугой Андреева является освѣщеніе личнаго начала въ жизни, превознесеніе личности и ея организаціи.

Авторомъ этихъ строкъ это было отмѣчено не разъ и съ достаточной силой. Вотъ что въ свое время было сказано въ нашей вступительной статьѣ къ первому тому собранія сочиненій Леонида Андреева, (вышедшему въ 1911 г. въ издательствѣ «Просвѣщенія»): «Художественное претвореніе личности и ея жизни въ цѣлый рядъ отдѣльныхъ образовъ, органически связанныхъ между собою, не можетъ не имѣть серьезнаго соціальнаго значенія. И въ особенности это должно сказать о русскомъ обществѣ и о Россіи, и если новыя формы жизни предъявили властный запросъ на личное мужество и энергію, на личную честь и призваніе, на личное творчество, выдержку и иниціативу, то нужно откровенно признать, что какъ разъ личности, какъ организаціонной формы, и въ нашей исторіи и въ современномъ сознаніи до крайности не хватаетъ. Весь ходъ нашего историческаго развитія шелъ какъ разъ такимъ путемъ, который лишилъ насъ этой глубокой, необходимой опоры всякой истинной общественности». И какъ разъ у Андреева «индивидъ и личность стали основнымъ философскимъ содержаніемъ его твореній»... а самъ поэтъ сталъ «однимъ изъ участниковъ борьбы, иду-

щей отъ вѣка между свободнымъ «я» и рабскимъ закоренѣлымъ инстинктомъ».

Но къ несчастью, великій художникъ, создавшій этотъ полюсъ своего міросозерцанія и въ нѣкоторыхъ вещахъ своихъ давшій приближеніе къ высочайшимъ вершинамъ индивидуальнаго духа, не сумѣлъ или не пожелалъ найти второго полюса жизни—общества и общественной связи. Поэтому и личность его осталась не только трагически одинокой, но не всегда достаточно устойчивой. И если для нея иногда открывалась во всей повелительности необходимость идти «въ народъ», то она это понимала исключительно какъ какое-то схожденіе внизъ, опрощеніе, отреченіе отъ своей сознательной и культурной воли и переходъ въ грязный и отвратительный хаосъ. «Стыдно быть хорошимъ» — вотъ единственная формула, которая доступна людямъ, считающимъ себя «хорошими» въ противоположность другимъ, нехорошимъ, и когда они рѣшаются снизиться до послѣднихъ, они считаютъ долгомъ снять съ себя какъ кафтанъ и всю «хорошесть». Въ этомъ преображеніи личность весьма далека, конечно, отъ кантовскаго нравственнаго императива съ его великимъ велѣніемъ быть нравствен-

нымъ во имя самого долга и смотрѣть на людей, какъ на цѣли въ самихъ себѣ...

Горькій не меньше, а даже, полагаемъ больше и лучше, чѣмъ Андреевъ, знаетъ «свинцовыя мерзости дикой русской жизни», изучилъ «плодовитый и жирный пластъ всякой скотской дряни» и знаетъ ту «живучую, подлую правду», которая «не издохла и по сей день». Знаетъ онъ поэтому чудесно и ту среду безликихъ звѣрей, которыхъ рисуетъ съ такою силою Андреевъ. Но знаетъ онъ имъ и настоящее имя и мѣсто. Стоитъ только заглянуть въ его «Городокъ Окуровъ», въ великую «уѣздную» Россію, познакомиться съ горьковскими «Мѣщанами», чтобы понять, чей ужасъ такъ идеологически точно выявилъ Андреевъ въ своихъ произведеніяхъ.

Начнемъ съ низовъ мѣщанства, съ ихъ окуровскихъ представителей. «Живутъ въ Россіи люди, называемые — мѣщане... самые безполезные въ мірѣ жители»... «злоплѣненное сословіе» «лежатъ они у корней ветелъ, точно куча сора, намытаго рѣкой, всѣ въ грязныхъ лохмотьяхъ, нечесанные, лѣнивые и почти на всѣхъ лицахъ одна и та-же маска равнодушія людей многоопытныхъ и не-

доступныхъ чувству удивленія.... люди полны безнадежной скукой»... общественнаго интереса у нихъ никакого: «Мѣщанъ политика не касается»—мѣщанинъ никакому своему «дѣлу-мѣсту» не «соотвѣтствуетъ», занимаются жители слободы кое-какими ремеслами, обворовываютъ проѣзжающихъ на базаръ въ городъ крестьянъ, въ холода «волчьей стаей» грабятъ на топливо развалины стараго дома, ломаютъ въ немъ многое прямо «по страсти разрушать, по тому печальному озорству, въ которое одѣвается тупое русское отчаяніе», бьются по праздникамъ на кулаки, забиваютъ подъ часъ другъ друга до смерти, а духовную пищу почерпаютъ изъ мелкихъ сплетенъ, да изъ атмосферы, окружающей публичный домъ—«фелицатинъ раишко». Какъ воспѣваетъ окуровскихъ «жителей» мѣстный поэтъ, Сима Дѣвушкинъ:

Боже, мы — Твои люди,
А въ сердцахъ у насъ — злоба.
Отъ рожденья до гроба
Мы другъ другу — какъ звѣри.

«Мы всѣ такіе, говоритъ одинъ изъ философовъ Окурова, смѣшанные извнутри. Кто насъ не гни, кланяемся, и больше ничего. Нѣтъ никакихъ природныхъ правъ,

и потому мѣщане — первые христопродавцы. Торговать кромѣ души нечѣмъ. Живемъ пакостно: въ молодости землю обезчестивъ, подъ старость на небо лѣземъ, по монастырямъ, по богомольямъ шатаясь»...

Тѣми-же чертами тоски и горя, въ которомъ — «какъ арестанты въ сѣрыхъ халатахъ своихъ — всѣ людишки одинаковы» — рисуетъ намъ Горькій мѣщанскіе низы много разъ въ произведеніяхъ своихъ. Къ сѣрому, монотонному существованію ихъ нечего прибавить. Не даромъ въ «Дѣтствѣ» своемъ, посвятивъ сотни страницъ описанію жизни мѣщанской со всѣми ея ужасами, говоритъ онъ про себя «порою меня душила неотразимая тоска, весь я точно наливался чѣмъ то тяжкимъ и подолгу жилъ, какъ въ глубокой темной ямѣ, потерявъ зрѣніе, слухъ и всѣ чувства, слѣпой и полумертвый». Впрочемъ жизнь иногда разнообразится дикой дракой, матерной руганью, грязнымъ разговоромъ: «Бурно кипитъ грязь, разсказываетъ Горькій въ «Хозяинѣ», сочная, жирная, липкая и въ ней варятся человѣческія души, варятся, стонутъ, почти рыдаютъ и видѣть это безуміе такъ мучительно, что хочется съ разбѣга удариться головой о каменную стѣну». Или какъ характери-

зуется эта жизнь въ «Ненужномъ человѣкѣ»: онъ видѣлъ, что «всѣ люди были злы, они устали отъ злости, жили, обманывая другъ друга, пьянствовали, дрались, обижали другъ друга тяжелыми обидами, каждый добивался власти надъ другими, а надъ собой не былъ властенъ, не видно было человѣка, который не боялся бы чего-нибудь, вся жизнь была насыщена страхомъ, и онъ разъединялъ людей».

И также просто какъ ругань и драка приходитъ въ эту среду злодѣяніе и убійство. Вотъ топятъ, хоть и неудачно, въ пруду, покрытомъ льдомъ, отца автора «Дѣтства» его собственнные свояки: «онъ вынырнулъ, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукамъ, всѣ пальцы ему растоптали каблуками», вотъ убиваютъ парни Андрея Бурмистрова, стоявшаго на стражѣ хозяйскаго добра—«ему отбили печенки»—душитъ любовница «Ненужнаго человѣка» травитъ мышьякомъ «Хозяинъ» своего предшественника пекаря при помощи его жены, забираетъ «все дѣло его въ свои руки, а ее бьетъ и до того запугалъ, что она готова какъ мышь жить подъ поломъ»... Въ «Лѣтѣ» убиваетъ стражникъ гулящую бабу, а затѣмъ стрѣляется самъ

въ темномъ отчаяніи и хмѣльномъ угарѣ, въ «Кожемякинѣ» мужъ забиваетъ до смерти жену—чѣмъ это не андреевскіе убійцы, герои «Краснаго Смѣха? А какъ бьютъ они, всѣ эти мѣщане, открыто и втихомолку увѣча женщинъ и дѣтей, бьютъ то сосредоточено мертвымъ боемъ, то разухабисто, куда попало, въ грудь, въ глаза, по затылку, животу, вырывая волосы, бьютъ кулакомъ и ногами, больше всего ногами, до полусмерти, бьютъ съ передышкой часами, цѣлыми днями иногда. Вотъ онъ человѣкъ—звѣрь гдѣ!

И отъ низовъ мѣщанскихъ ничѣмъ въ звѣрствѣ своемъ не отличаются хозяева и хозяйчики, предприниматели и собственники, и какъ разъ особенно рѣзко умѣютъ они изложить свою вѣру—формулу «желѣзной рѣшетки»; хвалитъ «Хозяинъ» Гараську, «Онъ у меня воръ». Онъ «умный и, ежели не оступится, въ острогъ не попадетъ—быть ему хозяиномъ! Живодеръ будетъ людямъ» и почти тѣми-же словами какъ Андреевъ, характеризуетъ и Горькій мѣщанскую мысль. Такъ послѣ каждой бесѣды съ «хозяиномъ» герой повѣсти чувствовалъ, какъ становились «непрочны, безсвязны, безкровны» его «мысли и мечты, какъ основательно разрываетъ ихъ въ клочья хозяинъ, пока-

зывая мнѣ темныя пустоты между ними, наполняя мнѣ душу тоскливой тревогой. Я зналъ, чувствовалъ, что онъ—неправъ въ спокойномъ отрицаніи всего, во что я уже вѣрилъ; я ни на минуту не сомнѣвался въ своей правдѣ, но мнѣ трудно было оберечь мою правду отъ его плевковъ; дѣло шло уже не о томъ, чтобы опровергнуть его, а чтобы защитить свой внутренній міръ, куда просачивался темный ядъ сознанія моего безсилія передъ цинизмомъ хозяина. Умъ его, тяжелый и грубый какъ топоръ, обрубилъ всю жизнь, раскололъ ее на правильные куски и уложилъ ихъ предо мною плотной полѣницей». Неудивительно, что съ такими «странно и жутко запутанными людьми» «дѣйствительность превращалась въ тяжкій сонъ и бредъ», а то, о чемъ говорили книги, «отходило все дальше»...

И развѣ иначе представляется городъ—тюрьма андреевскому герою и «ненужнымъ людямъ» Горькаго?—Евсей даже исполняя работу «не вносилъ въ нее ничего отъ себя и едвали понималъ смыслъ ея». «Внѣшняя жизнь была однообразна, событія, возбуждающія мысль, случались рѣдко, мозгъ незамѣтно засорялся липкой пылью буденъ... Непрерывное движеніе утомляло глаза, шумъ наливалъ голову

тяжелой отдѣляющей мутью, безконечный городъ сначала былъ подобенъ чудовищу сказки, оскалившему сотни жадныхъ ртовъ, ревущему сотнями ненасытныхъ глотокъ, но когда Евсей присмотрѣлся къ пестрому волненію уличной жизни, онъ увидалъ въ ней тяжкое и скучное однообразіе... онъ... видѣлъ всегда однихъ и тѣхъ-же людей и уже зналъ, что каждый изъ нихъ будетъ дѣлать черезъ часъ и завтра... Каждый человѣкъ казался прикованнымъ къ своему дѣлу, точно собака къ своей канурѣ. Иногда мелькало или шептало что-то новое, но его трудно было разсмотрѣть и понять въ густой массѣ знакомаго, обычнаго и непріятнаго». И только въ «полусонномъ оцѣпенѣніи», въ «прозрачномъ туманѣ», грезы отдыхаетъ и оживаетъ этотъ жизненный арестантъ.

Все какъ у Андреева. Но и большая разница. Горькій не вѣритъ самъ въ мѣщанскую философію, а потому и не считаетъ, что «всѣ» люди таковы, что «всякій» человѣкъ — звѣрь, что въ немъ, кромѣ звѣрства ничего нѣтъ, что «всякая» мысль обманчива, что единственнымъ спасеніемъ является «порядокъ» желѣзной рѣшетки и т. д. И тоже самое можемъ мы сказать относительно андреевскаго

сверхчеловѣчества. Оно отнюдь не представляетъ собой общечеловѣческаго идеала, даже не исчерпываетъ идеологіи общенародной. Это опять таки явленіе того, что мы назвали исключительно мѣщанской психологіей въ широкомъ смыслѣ слова. Вѣдь вполнѣ естественно, что безсильное и разрозненное мѣщанство, порабощенное циничной бухгалтеріей наживы, не можетъ найти выхода въ сплоченномъ, коллективномъ дѣйствіи. И оно выбрасываетъ изъ своей среды сверхлюдей, героевъ и хулигановъ, которые и проявляютъ нужное молодечество, даютъ выходъ сдавленнымъ силамъ и порождаютъ утѣшительную легенду. Таковы всѣ эти красавцы и кулачные бойцы, Бурмистровы, Хряповы, Маклаковы, безудержные купцы, Ѳомы Городѣевы, опоэтизированные босяки Челкаши и Чудры, бывшіе люди, особенно герои перваго періода творчества Горькаго. Но вмѣстѣ съ полосой безвременья проходитъ ихъ полоса, и они гибнутъ вмѣстѣ со вскормившимъ ихъ мѣщанствомъ: «Талантливые пьяницы, красивые бездѣльники, прочіе веселой спеціальности люди уже перестали обращать на себя вниманіе... Эй, комики, забавники, прочь со сцены!».

Л. Андреевъ мѣщанскую психологію

возводитъ въ перлъ созданія, дѣлаетъ изъ нея всеобъемлющее начало и не видитъ за ней ничего другого. М. Горькій въ этомъ отношеніи счастливѣе своего собрата. Рисуя андреевскими красками мѣщанство, онъ находитъ на своей палитрѣ достаточно оттѣнковъ, чтобы найти среди народа кромѣ «рожъ» и «масокъ» настоящія человѣческія лица, оригинальные типы, яркія формы. Цѣлая галлерея народныхъ печальниковъ и юродивыхъ, святыхъ и обрядниковъ, раціоналистовъ и мистиковъ, успокоенныхъ и отчаянныхъ, чистыхъ и распутниковъ, дѣльцовъ и поэтовъ — проходитъ передъ нами. По изобилію типовъ и красокъ можно прямо признать произведенія Горькаго настоящимъ психологическимъ музеемъ русскаго народа. И, конечно, тамъ, гдѣ выступаетъ весь народъ, не можетъ быть мѣста ни пессимизму, ни отчаянію.

Есть въ народѣ такіе, которые подобно женщинѣ — хохлушкѣ изъ «Исповѣди», горемъ своимъ наслаждаются и паденіемъ своимъ ежечасно мучителямъ мстятъ. «Много видѣлъ я людей, говоритъ разсказчикъ, озлобленныхъ горемъ: тлѣетъ въ нихъ неугасимая ненависть ко всему, и кромѣ зла—ничего не могутъ они видѣть. Видятъ злое и, словно въ жаркой

банѣ, парятся въ немъ, какъ пьяницы вино—пьютъ желчь и хохочутъ, торжествуютъ»... не желаютъ «видѣть ничего, кромѣ язвъ своихъ, и не слышать иного, кромѣ стоновъ отчаянія». Близокъ къ этому типу и «дѣдушка» въ «Дѣтствѣ», но есть и иные. Ларіонъ изъ «Исповѣди» съ «необъятнымъ Богомъ», Іона Іегудіилъ оттуда-же, Дьячекъ изъ «Матвѣя Кожемякина», Мать Власова и имъ подобные, знающіе всю глубину горя и ужаса, но жизнь принимающіе не въ точкѣ одной, а во всей полнотѣ, страдающіе нестерпимо, но отъ жизни, борьбы и вѣры не отрекшіеся. И рядомъ съ ними негодующіе, словно огнемъ гнѣва опаленные, исповѣдники и обличители, которые не могутъ ждать и подобно солдату Гнѣдому становятся передъ окнами обидчиковъ и словомъ древнихъ пророковъ громятъ нечестиваго («Лѣто»). Таковъ и Рыбинъ, народный мститель въ «Матери», за народъ погибающій. Законникамъ—лицемѣрамъ, истинному воплощенію фарисейства, старичкамъ, смерти боящимся, аскетамъ, отъ Бога откупающимся, противопоставлены грамотѣи народные, книги почитатели, разумники, истинная интеллигенція народная.

Въ одномъ отношеніи Горькій въ

своихъ произведеніяхъ далъ истинное откровеніе нашему обществу. И думаемъ, онъ не столько будетъ впослѣдствіи славенъ своими босяками, сколько картиной удивительной книжной и художественной культуры, разцѣтшей среди русскаго народа несмотря на всѣ его злоключенія. Мы не говоримъ уже о томъ, что пѣсней перевита вся жизнь горьковскихъ героевъ... Она буквально дрожитъ и переливается надо всей Русью, сливается съ повседневнымъ трудомъ, даетъ ему ритмъ и форму, вспыхиваетъ въ дикомъ разгулѣ, плачетъ и смѣется въ самыхъ различныхъ формахъ отъ фабричной частушки до божественнаго канта или стиха. Буквально на нашихъ глазахъ творится народная пѣсня. А вотъ какъ вопитъ надъ тѣломъ сына опытная и распутная Фелицата:

Соприткнулася я грудью бѣлою, да жаркою, сырой землѣ.
Ты-ль родимушка повадная, сыра земля,
Тебя проситъ, сердцемъ молитъ мать безсчастная.
Да пріими-ка ты усопшее дитя мое,
Моего-ль сердца кровинушку рубинову!

Но кромѣ пѣсни показалъ намъ Горькій и нашихъ «уѣздныхъ» поэтовъ. Особенно ярко выдѣляется здѣсь фигура Симы Дѣвушкина изъ городка Окурова. Съ необычайной нѣжностью нарисованъ

этотъ образъ народнаго стихослагателя, истиннаго лирическаго поэта мѣщанской тьмы. Безсребренникъ, чуткій какъ струна, воспѣваетъ онъ жизнь своихъ «доможителей»:

Въ городѣ у насъ—какъ на погостѣ—
Для всего готовая могила.
Братцы мои! Злую склоку бросьте,
Чтобъ жить на свѣтѣ легче было!

И скорбно говоритъ о самомъ себѣ:

Я волкамъ—тоской моей
Точно братьямъ, кровно сроденъ,
И не нуженъ, не сроденъ
Никому среди людей...

Въ томъ же духѣ слагаетъ стихи и Коля Яшинъ на Мало-Суетинской улицѣ:

Что часъ,—то жизнь моя короче
И съ каждымъ днемъ труднѣй она,
Уже прошелъ я путь мой краткій
И ничего въ концѣ не жду!

Презираютъ своихъ поэтовъ мѣщане, какъ никудышныхъ людей, но и любятъ ихъ и слушаютъ ихъ стихи, ждутъ, когда Дѣвушкинъ новый стихъ сложитъ. И развѣ не настоящаго артиста показалъ намъ Горькій въ мальчикѣ—стекольщикѣ Анатоліѣ, который въ цѣлыхъ драматическихъ

представленіяхъ изображалъ и свою улицу и дворъ? А такіе сказители сказокъ, какъ «бабушка» въ «Дѣтствѣ» и многія по ея подобію созданные мужики и бабы?—Все это лица, а не безликіе, у каждаго изъ нихъ свои думы и вѣра, слово и пѣсня. Не сѣрая рота арестантовъ жизни, а цвѣтами изукрашенный широкій лугъ.

Не менѣе примѣчательна и та въ значительной степени церковно-славянская словесность, которая на языкѣ псалмовъ и четьи-миней оказывается въ силахъ выразить глубочайшія философскія проблемы. И опять таки ничего похожаго на раздавленную андреевскую »Мысль». Притчи, изрѣченія, апокрифическія сказанія, пословицы—все это лишь форма, которой пользуются различные Тіуновы и Кореневы для выраженія самыхъ оригинальныхъ построеній. Это все народная интеллигенція стараго типа и большую роль въ ней играютъ бывшіе церковники, опальные попы, богомольцы, странники, сектантскіе и раскольничьи начетники, люди складнаго слова, діалектики и спорщики. Здѣсь и отецъ Іона изъ «Исповѣди», проповѣдникъ новой религіи боготворчества народнаго, и злой закладчикъ, Антипа Волоконовъ, и Мар-

куша, сочинитель издѣвательскихъ и страшныхъ разсказовъ... «Слово» называетъ дьячекъ Кореневъ «тѣломъ разума человѣческаго», и такъ характеризуетъ книгу: это—«запечатлѣнный разумъ человѣка», богатство души, накопленное имъ... Въ книгахъ заключены души людей, жившихъ до нашего рожденія, а также живущихъ въ наши дни, и книга есть какъ-бы всемірная бесѣда «людей о дѣяніяхъ своихъ и запись думъ человѣческихъ о жизни».

Особое мѣсто занимаютъ у Горькаго безумные и юродивые, живые свидѣтели ужасовъ нашей жизни. Но опять таки не ограничивается нашъ писатель одними андреевскими злыми идіотами. И въ безуміи показываетъ онъ намъ ихъ многоцвѣтность и красоту. Вотъ мстительница за дѣтей своихъ, «Собачья матка», для бездомныхъ псовъ вынуждающая подаяніе у людей, которые только мучить умѣютъ тварь безсловесную. А вотъ цѣлая галлерея юродивыхъ — Алеша, Нилушка. Особенно свѣтло и тонко описанъ Нилушка. Когда поетъ онъ, «весь свѣтится теплымъ свѣтомъ всему чужого веселья, легкій такой, пріятный, внутренне чистый, легко вызывающій добрыя улыбки, мягкія чувства... Летя въ золо-

тисто-пыльномъ воздухѣ, его тонкая, стройная фигурка должно быть всѣмъ одинаково напоминаетъ церковь, ангеловъ, Бога, рай»... онъ «такой сказочный и жалобный» похожій на «образы лучшихъ и любимыхъ людей русской земли», это «житейные люди» въ которыхъ «Русь вложила свою напуганную, печальную душу, свое покорное, пѣвучее горе». «Красавецъ Нилушка былъ необходимъ для грязной нищенской и больной жизни слободы, онъ оттѣнялъ и завершалъ собою ея ненужность, безсмыслiе, безобразiе».

Таковъ богатый и многогранный міръ Горькаго. И этому міру свойственна такая-же сильная жизнь съ ея подъемами и паденіемъ, стоячими гнилыми болотами и водоворотомъ народныхъ движеній. Но прежде всего съ великимъ благоговѣніемъ возноситъ Горькій на великую высоту источникъ всякой жизни и ея носительницу, женщину—мать. И поскольку кругозоръ Андреева знаетъ лишь двѣ крайности—изъ вѣры сотканную Мусю и скорбную проститутку, Екатерину Ивановну, Горькій и здѣсь счастливѣе своего собрата: онъ даетъ удивительную галлерею женскихъ типовъ, которая по полнотѣ и множеству оттѣнковъ уступаетъ развѣ Тургеневу. И въ основу имъ положено

именно материнство, великая жажда его, которая способна бросить женщину и на великій грѣхъ и на самоотверженный подвигъ.

Какихъ только женщинъ не рисуетъ намъ Горькій. Здѣсь опять таки монашенки и проститутки, и барышни и огородницы, святыя и грѣшницы, старыя и молодыя. Но береть онъ женщину съ самаго важнаго для нея—съ ея материнства. И рискуетъ поэтому такими описаніями, какъ изображеніе родовъ, и умѣетъ такъ разсказать о появленіи новой человѣческой жизни на землѣ, что намъ становится сразу ясно все величіе женщины-матери среди насъ. Вотъ какъ разсказываетъ странникъ-невольный акушеръ —о женщинѣ: «мы немножко ругали другъ друга... она отъ боли и, должно-быть, отъ стыда, я—отъ смущенія и мучительной жалости къ ней». Но вотъ родила женщина, приложила ребенка къ груди... «тихо вскрикнувъ, умолкла, потомъ снова открылись эти до нельзя прекрасные глаза—святые глаза родильницы, синіе, они смотрятъ въ синее небо, въ нихъ горитъ и таетъ благодарная радостная улыбка, поднявъ тяжелую руку, мать медленно креститъ себя и ребенка...—Слава Те, Пречистая Матерь Божія... охъ...

слава Тебѣ»... Накормила, уложила на осенніе листья ребенка и смотритъ на него... изливая изъ глазъ теплые лучи ласковаго свѣта, облизываетъ губы и медленнымъ движеніемъ поглаживаетъ грудь». Немного отдохнула мать, а затѣмъ поднялась и опираясь на случайнаго спутника своего, поднялась и прошла по берегу моря и заглядывала въ лицо сына— «глаза ея, насквозь промытые слезами страданій, снова были изумительно ясны, снова цвѣли и горѣли синимъ огнемъ неисчерпаемой любви».

Одна эта сцена показываетъ намъ, какъ знаетъ Горькій самое главное въ женской душѣ, и этимъ солнцемъ освѣщаетъ онъ ее всю. Удивительный образъ въ лицѣ своей бабушки рисуетъ Горькій въ «Дѣтствѣ», ничего болѣе плѣнительнаго и трогательнаго не знаетъ русская литература. Это такой гимнъ самому высокому въ женщинѣ, что, можно сказать, обезсмертилъ Горькій не только милую бабушку свою, но и простую русскую женщину въ лицѣ ея. Любовь, ту любовь, которую почувствовалъ Горькій разлитой во всемъ мірѣ, нашелъ онъ горящей въ груди женщины и вознесъ ее. Любовью, какъ полная чаша, сіяетъ и переливается все въ большой бабушкиной фигурѣ

слова у нея «похожія на цвѣты, такіяже ласковыя, яркія, сочныя. Когда она улыбалась, ея темные какъ вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо пріятнымъ свѣтомъ, улыбка весело обнажала бѣлые крѣпкіе зубы... все лицо казалось молодымъ и свѣтлымъ... Вся она—темная, но свѣтилась извнутри—черезъ глаза—неугасимымъ, веселымъ и теплымъ свѣтомъ... двигалась легко и ловко, точно большая кошка,—она и мягкая такая-же, какъ этотъ ласковый звѣрь». Плясунья и сказочница, неугомонная работница, все сердцемъ понявшая и простившая, всѣ печали утолившая, сама мученица и страдалица, дарящая Мадонна русская,—изъ бѣлыхъ лилій акаѳистъ сложилъ ей воспитанникъ и внукъ ея и сумѣлъ это такъ сдѣлать, что каждый въ ней свою мать видитъ—Пречистую!

Только дальнѣйшее развитіе получилъ образъ этотъ въ повѣсти о «Матери» Власова, которая не только сына своего родила, но отдала его на жертву общему дѣлу, сдѣлала вѣру его своей и сама съ нимъ вмѣстѣ пошла на подвигъ: «идутъ въ міръ дѣти наши, кровь наша... идутъ въ міръ дѣти наши къ радости... идутъ за правдой... ради всѣхъ и Христовой правды ради—противъ всего, чѣмъ поло-

нили, связали, задавили насъ злые наши, фальшивые, жадные наши! Сердечные мои, вѣдь это за весь народъ поднялась молодая кровь наша, за весь міръ... поймите сердце дѣтское, повѣрьте сыновнимъ сердцамъ—они правду родили, въ ней горятъ, ради ея погибаютъ»... Такъ говоритъ мать, которая до конца не могла разстаться съ дѣтьми своими!

И даже когда любовь женщины къ мужчинѣ рисуетъ намъ Горькій, онъ подчеркиваетъ въ ней материнскій оттѣнокъ, самоотдачу женщины мужу и любовнику. Такъ и говоритъ Машенька «Матвѣю Кожемякину». Но это нисколько не мѣшаетъ поэту нашему въ пышныхъ краскахъ рисовать «пѣснь торжествующей любви»—«около гротъ-мачты, прислонясь къ ней широкою спиной, сидитъ богатырь-парень... безбородый, безусый; пухлыя красныя губы, голубые дѣтскіе глаза, очень ясные, пьяные молодой радостью. На колѣняхъ его ногъ, широко раскинутыхъ по палубѣ, легла такая же какъ онъ—большая и грузная—молодая баба-рѣзальщица, съ краснымъ отъ вѣтра и солнца шаршавымъ... лицомъ; брови у нея были черныя, густыя и велики, точно крылья ласточки, глаза сонно прикрыты, голова утомленно запрокинута черезъ ногу

парня, а изъ складокъ красной, разстегнутой кофты, поднялись твердыя, какъ изъ кости рѣзаныя груди... Парень положилъ на лѣвую ея грудь широкую, черную какъ чугунъ лапу длинной узловатой руки... и тяжко гладитъ добротное тѣло женщины» и на окрики сосѣдей говоритъ:—«Всю Россію выкормимъ»—Выкормимъ!—воистину великій обѣтъ силы творящей, любви щедрой, столько жизни въ себѣ таящей. Недаромъ одинъ изъ героевъ Горькаго говоритъ, что въ каждой женщинѣ много душъ живетъ и каждой изъ нихъ женщина должна дать форму и бытіе.

Но зато печальными чертами обрисована у Горькаго женщина, которая безплодно проходитъ свой путь. Погибаетъ странница прекрасная, въ поискахъ за мужемъ и семьей исходившая всю Россію. Цѣлыя вереницы истеричекъ и кликушъ, распутницъ и богомолокъ, замаранныхъ, опозоренныхъ, оскорбленныхъ въ самомъ дорогомъ своемъ, съ горькимъ стономъ и слезами идутъ въ могилу, рядомъ съ забитой, до смерти заколоченной мужней женой! На какія только уступки, на какое униженіе не идетъ женщина, лишь-бы чрево свое освятить и муку рожденія понести. И какъ разъ ногами въ

животъ любятъ бить женщину озвѣрѣлые мужики и мѣщане, стремятся не только ее замучить, но растоптать жизнь, зажженную подъ сердцемъ. Знаетъ Горькій всю глубину горя русской женщины. Но не идеализируетъ и не щадитъ. Ибо таже семья и забота о ней заставляетъ женщину ненавидѣть и презирать своего мужа-рабочаго, какъ только онъ во вредъ семьѣ примыкаетъ къ пролетарскому движенію, и только холостые оказываются дѣйствительно вѣрными друзьями борьбы за освобожденіе труда.

Творитъ женщина въ дѣтяхъ, а мужчина въ трудѣ. Человѣкъ любитъ быть израсходованнымъ. Это положеніе, которое было такъ блестяще доказано Гюйо въ его новой теоріи нравственности, можетъ быть смѣло положено въ основу той психологіи, которую рисуетъ намъ Горькій. Едва-ли не самый сильный мотивъ, который заставляетъ жестоко страдать у этого писателя здоровыхъ и зрѣлыхъ людей, это ихъ ненужность, невозможность приложить свои силы, быть исчерпанными такъ, чтобы они чувствовали, что всего себя отдали своему призванію. Это новая категорія «лишнихъ людей» изъ числа уже не привиллегированныхъ или избранныхъ сословій, а изъ числа худород-

ной массы, купечества и мѣщанства. Не Рудины, а Гордѣевы. И если относительно лишнихъ людей изъ дворянства или интеллигентовъ можно было еще говорить о нѣкоторой субъективной виновности различныхъ Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда, излишне изнѣженныхъ и капризныхъ, то здѣсь ужъ этого вопроса совершенно ставить не приходится, ибо люди это—вышедшіе изъ народа, силъ у нихъ хоть отбавляй и добраго желанія достаточно. Но запертые въ безвоздушное пространство мѣщанскаго гроба, привязанные какъ каторжники къ своему гнусному колесу, не находящіе ни малѣйшаго удовольствія въ наилучшемъ способѣ сдиранія шкуры съ ближняго своего, они оказываются какъ рыба безъ воды безъ какой-бы то ни было общественной атмосферы.

Среди горьковскихъ «лишнихъ людей» можно различить два основныхъ типа—это съ одной стороны отчаявшіеся, а съ другой романтики. На первомъ останавливаться особенно не приходится. Онъ общеизвѣстенъ и весьма сродни вообще говоря мѣщанскому «сверхчеловѣку». Онъ пьянствуетъ, дебоширитъ, хулиганствуетъ, дерется, протестуетъ дѣйствіемъ противъ непонятной, со всѣхъ

сторонъ его охватывающей «тоски» и гибнетъ отъ запоя или съ проломленной головой подъ заборомъ «на днѣ» жизни. Горькій сумѣлъ дать много красоты, искренности и прямого благородства въ этихъ удивительныхъ фигурахъ, которыя при другой обстановкѣ и другихъ условіяхъ дали бы безстрашныхъ борцовъ, ловкихъ и смѣлыхъ вождей, піонеровъ новаго дѣла, творцовъ новыхъ формъ. Но за негодностью для старой общественной машины они оказались излишними, и именно потому, что они были богаче той скудной жизни, которая ихъ окружала, приговоренными къ смертной казни черезъ медленное удушеніе. Картина своего рода обратнаго отбора, которую въ «Мертвомъ домѣ» отмѣтилъ еще Достоевскій, нашедшій, именно на каторгѣ наиболѣе смѣлыхъ и одаренныхъ русскихъ людей. Горьковская галлерея погибающихъ русскихъ силъ проходитъ черезъ всѣ его произведенія, и для иллюстраціи отмѣтимъ лишь одинъ, наиболѣе «тяжелый» случай. Это—въ одномъ изъ новѣйшихъ разсказовъ—«Хозяинѣ».

И въ самомъ дѣлѣ. Въ этомъ разсказѣ передъ нами, казалось бы, одинъ изъ самыхъ отрицательныхъ типовъ русской дѣйствительности. Василій Семеновъ.

убійца своего предшественника, типичный грабитель и бандитъ, становится благодаря преступленію «Хозяиномъ» пекарни. Онъ продолжаетъ дѣло убитаго, занимается безстыднѣйшимъ надувательствомъ всѣхъ, съ кѣмъ сталкиваетъ его судьба, имѣетъ трехъ любовницъ, безбожно эксплоатируетъ своихъ рабочихъ, бьетъ ихъ, издѣвается надъ ними, и самъ ведетъ жизнь, недалеко ушедшую отъ его любимицъ, породистыхъ свиней въ особомъ хлѣву. Грязный, грубый, злой, почти всегда облаченный въ длинную до пятъ татарскую рубаху на голое тѣло и обутый въ галоши на босую ногу—безъ штановъ—этотъ человѣкъ воистину производитъ потрясающее впечатлѣніе рѣдкаго безобразія и низости. И что-же? Горькій умѣетъ показать и на этомъ опустившемся до послѣднихъ ступеней звѣрѣ не только человѣческія черты, но печальный слѣдъ великой драмы русскаго человѣка: невозможности примѣнить и использовать богатыя силы, данныя ему судьбой. Тоска душитъ этого грязнаго гиганта. Его исключительныя способности уходятъ на то, чтобы не зная грамотѣ вести на память громадное дѣло и надувать публику. Въ запоѣ ищетъ онъ спасенія и такъ говоритъ о своей незадачѣ: «Я, изнутри,

хорошій человѣкъ—съ сердцемъ... Э-эхъ, ма-а, кабы мнѣ людей хорошихъ, крѣпкихъ-бы людей! Показалъ-бы я дѣло-на всю губернію, на всю Волгу... Ну,—нѣтъ-же народу! Всѣ пьяны отъ нищеты и слабости своей... Съ молоду, съ молоду надо глядѣть къ чему въ человѣкѣ охота есть,—а не гнать безъ разбору во всякое дѣло. Оттего и выходитъ: сегодня — купецъ, завтра-нищій, сегодня-пекарь, а черезъ недѣлю, гляди, дрова пилитъ пошелъ... стригутъ какъ овецъ, всѣхъ одними ножницами... А надо дать человѣку найти новое свое пристрастіе—свое!.. Всѣхъ заставляютъ жить противъ воли, не по своимъ средствамъ, а какъ начальство распорядится... А такъ съ чиновниками, подъ чужой рукой — ничего не будетъ, никакого дѣла. Бросить все и — бѣжать въ лѣсъ. Бѣжать... Болваны... никчемный народъ... Мнѣ—всего сорокъ съ годомъ, а я скоро помру отъ пьянства, а пьянство—отъ безпокойства жизни, а безпокойство... развѣ я для такого дѣла?.. Что это для меня? Мышеловка. Дай мнѣ пятокъ понимающихъ да честныхъ...—я те покажу это.—Работу! Огромное дѣло, на удивленіе всѣмъ и на пользу»...

Еще любопытнѣе категорія «романтиковъ». Эти люди очень близко стоятъ

къ категоріи «отчаянныхъ». Но отличаетъ ихъ великій эстетическій даръ, прикосновеніе къ душамъ ихъ своего рода «голубого цвѣтка» или «синей птицы». Не находя выхода въ дѣйствительности, они ищутъ его въ мечтѣ и грезѣ. Во времена мрачныя и тяжелыя такіе мечтатели играютъ не малую роль. Ибо въ нихъ сберегается идеалъ, хранится вѣра, прячется чувство, которыя понадобится въ оный день. И здѣсь, вѣдь, есть свои ступени и переходы. На одномъ концѣ стоятъ фантасты и безумцы, почти безплодные и бездѣятельные, но на другомъ люди той предрасвѣтной эпохи, когда только путемъ романтическаго напряженія горячечныхъ чувствъ и огненнаго бреда возможно нанести первый ударъ обломкамъ отжившаго. Ибо первые шаги всегда требуютъ не экономнаго и спокойнаго дѣйствія, а взрыва и натиска.

У Горькаго имѣемъ мы всѣ оттѣнки «романтиковъ». Безплодныхъ мечтателей у него очень много. Нѣтъ почти ни одного изъ дѣятелей «Дна», и «Окурова», который-бы ни мечталъ, одна о Гастонѣ и Раулѣ, другой о чайникѣ, который самъ звонить будетъ, когда въ немъ вода закипитъ, третій просто ни о чемъ, а погружается въ полусонное состояніе, и душа

его въ это время «летаетъ». Гораздо важнѣе тѣ, у которыхъ мечты эти принимаютъ болѣе реальный характеръ и хоть издали, но реагируютъ на жизнь. Таковъ, между прочимъ, «Матвѣй Кожемякинъ», интереснѣйшій типъ мечтателя изъ купцовъ, но мечтателя, надо ему отдать справедливость, несравненно болѣе высокаго, нежели Гончаровскій Обломовъ изъ дворянъ. Кожемякинъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы идти въ жизнь и бороться съ ея ужасомъ, но онъ и не уходитъ отъ нея. Зрителемъ остается онъ среди ея теченія, но зрителя, который все время измѣряетъ ее добрымъ сердцемъ своимъ, содрогается, пробуетъ что нибудь исцѣлить или исправить, но отступаетъ въ безсиліи противъ желѣзнаго хода ея. Вотъ какъ онъ пишетъ самъ про себя. «Жилъ все въ бѣдныхъ мысляхъ про себя самаго, какъ цыпленокъ въ скорлупѣ, а вылупиться силы то и не нашелъ... нѣма душа моя, а мысли нищи и убоги»... «Не единожды чувствовалъ я, будто нѣкая сила, мягко и неощутимо почти, толкала меня на путь иной, невѣдомый мнѣ, но, вижу, несравнимо лучшій того, коимъ— я нынѣ дошелъ до смерти, по лѣни духовной и тѣлесной, потому-то всѣ такъ идутъ»... «Вкушая вкусихъ мало меда и

се-азъ умираю»... Горькія слова и печальная исповѣдь.

Дальше стоятъ тѣ «Романтики», которые подобно Ѳомѣ Вараксину, «человѣку нелѣпому», несли въ пролетарское движеніе безудержную и неопредѣленную восторженность, создавали себѣ всевозможныя иллюзіи, забывали о жестокой дѣйствительности и просыпались отъ своихъ радужныхъ сновъ лишь тогда, когда сильный ударъ обрушивался на ихъ вѣрующее сердце. Несомнѣнно, идеалы Вараксина были выше тактическихъ и партійныхъ лозунговъ, ибо понятіе «человѣкъ» выше понятія «пролетарій», а человѣчность выше классоваго интереса, но ошибся временемъ бѣдный романтикъ, почиталъ наступившимъ то, что еще должно нѣкогда придти; вѣрилъ въ чудо внезапнаго и волшебнаго превращенія, которое на самомъ дѣлѣ достигается великимъ и долгимъ трудомъ. Черты романтизма однако свойственны хотя и въ другой формѣ большей части выведенныхъ Горькимъ участниковъ русскаго рабочаго движенія. Особенно это наблюдается въ картинахъ, которыя далъ онъ въ «Матери». Такъ это и должно быть. Ибо во первыхъ молодо еще очень наше рабочее движеніе и не пережило

своей первой, героической стадіи. А во вторыхъ слишкомъ еще въ русскомъ пролетаріѣ чувствуется вчерашній крестьянинъ, не отдѣлавшійся еще окончательно отъ мистики и романтики «матери-земли». Это придаетъ всему движенію своеобразныя и неплохія черты. И Власовъ и Находка поэтому окрашены гораздо болѣе праздничными тонами, нежели представители позднѣйшей стадіи, вродѣ пролетаріевъ изъ «Враговъ» или тѣхъ-же товарищей «Романтика» Вараксина. Но именно потому ярче просвѣчиваетъ въ піонерахъ движенія ихъ паѳосъ борьбы, сила идеализма, который такъ присущъ рабочему классу, несмотря на матеріализмъ его обоснованія, наконецъ его не только классовое. но міровое значеніе. Вотъ почему такъ горячо о будущемъ мечтаетъ Андрей Находка», о времени «когда люди станутъ любоваться другъ другомъ, когда каждый будетъ—какъ звѣзда передъ другимъ, и будетъ каждый слушать другого какъ музыку», когда «будутъ ходить по землѣ люди вольные, люди, великіе свободой своей; всѣ пойдутъ съ открытыми сердцами, и сердце каждаго чисто будетъ отъ зависти и жадности, и поэтому беззлобны будутъ всѣ»...

Но заложена въ герояхъ Горькаго и другая вѣра. И это—истинныя основы пролетарской правды. Такова прежде всего вѣра въ трудъ какъ истинное творчество жизни. Самъ по себѣ трудъ и работа хороши. Какъ говоритъ Горькій въ «Сказкахъ» своихъ: «каждый городъ, храмъ, возведенный руками людей, всякая работа—молитва Будущему».

И если умѣетъ дать нашъ поэтъ очарованіе сладкой лѣни и психологію свободнаго бродяжества, то съ еще большею силой даетъ онъ намъ понять обаяніе труда, даже подневольнаго. Въ «Хозяинѣ» описано одно изъ самыхъ тяжелыхъ и трудныхъ производствъ, пекарное, которое, кстати сказать, взято художникомъ въ самой отрицательной, въ самой тяжелой обстановкѣ. И что-же, даже здѣсь, въ сыромъ и темномъ подвалѣ, свѣтится трудъ работника какъ величайшая цѣнность, и ритмъ общей, горячей работы невольно захватываетъ всѣхъ: «Жарь да вари!»—кричитъ пекарь, Пашка Цыганъ, и «отъ него по всему подвалу словно искры разбѣгаются бодрые, звонкіе крики». Но высшаго напряженія достигаетъ работа тамъ, гдѣ она есть вмѣстѣ съ тѣмъ и высшая побѣда человѣка надъ природой. Такъ было, разсказываетъ ра-

бочій въ Италіи, при прорытіи Симплонскаго туннеля: «Когда мы услыхали тамъ, подъ землею, во тьмѣ, шумъ другой работы... нами овладѣвало радостное бѣшенство побѣдителей—мы работали какъ злые духи, какъ безплотные, не ощущая усталости, не требуя указаній—это было хорошо, какъ танецъ въ солнечный день... Была работа, моя работа, святая работа».

Въ этомъ гимнѣ труду, творчеству, «святой работѣ»—величайшій призывъ пролетаріату, обращеніе къ «молитвѣ Будущему», его воплощеніе—боготворчество. И нельзя иначе отмѣтить Горькаго, этого пѣвца пролетаріата, какъ именно величайшимъ оптимистомъ этого будущаго. Недаромъ нарисованные уже въ болѣе холодныхъ и трезвыхъ чертахъ рабочіе «дѣлового» періода пролетарскаго движенія тѣмъ не менѣе отличаются горячей вѣрой въ «Будущее». И если они уже о многомъ говорятъ: «буржуазный предразсудокъ», «Утопія», «надо знать исторію культуры», то съ другой стороны именно они «спокойно вѣрятъ въ свою правду», ихъ лозунгъ «жить надо въ будущемъ—оно освобождаетъ душу»! И ясно, какъ-бы ни было тяжко настоящее, въ какихъ-бы мрачныхъ краскахъ оно

ни рисовалось, тотъ, у кого есть будущее, не опуститъ безсильно рукъ, не будетъ раздавленъ судьбой и даже за квадратомъ «желѣзной рѣшетки» увидитъ ничѣмъ не связанную, манящую безконечность. Не воплемъ отчаянія, а призывомъ къ новой борьбѣ—несмотря на всѣ городки Окуровы—звучитъ рѣчь Горькаго. И когда тотъ, кто перенесъ всѣ муки своего «Дѣтства», испыталъ тяжесть разныхъ «Хозяевъ», столько былъ «въ Людяхъ» и такъ много странствовалъ «По Руси», говоритъ намъ о «Будущемъ» и рисуетъ великую и свободную человѣчность, то, казалось-бы, мы можемъ повѣрить искренности его; когда онъ разсказываетъ намъ о прожитомъ имъ «счастливомъ лѣтѣ» и «сквозь снѣжную тяжелую муть» кричитъ «великому русскому народу»—«съ воскресеніемъ близкимъ, милый» — «Воистину воскреснетъ»—отвѣтимъ мы!

III.

Прежній Андреевъ и Андреевъ новый. — Цѣнность стараго андреевскаго пессимизма.—Новый военный оптимизмъ Андреева.—«Homo». — Духъ и великіе. — «Иго войны». — Свѣтъ, который долженъ возсіять, любовь и прусское засиліе.— Андреевъ и славянофилы.

Великимъ оптимистомъ выступаетъ здѣсь Горькій передъ нами, и воистину горькимъ пессимистомъ выясняется по сравненію съ нимъ тотъ Андреевъ, котораго мы такъ привыкли цѣнить. Но противопоставляя вѣру одного невѣрію другого, мы менѣе всего желаемъ во чтобы то ни стало восхвалять оптимизмъ вообще по сравненію съ его противоположностью—пессимизмомъ. Вотъ почему мы совершенно не можемъ понять нынѣшняго, новаго Андреева, который «пессимизмъ» Горькаго готовъ былъ зачислять въ разрядъ великаго преступленія, а именно униженія «цѣлаго народа» русскаго и притомъ безъ «надежды на возрожденіе». Приписать Горькому такой «пессимизмъ» было дѣломъ непонятнаго и необъяснимаго ослѣпленія—какъ это мы въ достаточной степени показали на самомъ общемъ обозрѣніи сочиненій Горькаго. Послѣ тѣхъ въ значительной степени случайныхъ выдержекъ, которыя мы привели, развѣ безумецъ могъ-бы почитать Горькаго зловреднымъ пессимистомъ, который не сумѣлъ, де, разсмо-

трѣть въ русскомъ народѣ даже «искры Божіей!» Это о Горькомъ-то! Но дѣло обстоитъ гораздо хуже. Вмѣсто Горькаго мы должны принять подъ свою защиту самого Андреева, прежняго Андреева, любимаго писателя нашего, противъ новаго Андреева, неудачнаго и безталаннаго публициста спеціальной окраски въ цвѣта «Отечества», и, какъ кажется, пресловутой «Русской Воли». Дѣло вѣдь въ томъ, что прежній Андреевъ не только былъ пессимистомъ, но открыто признавалъ свой пессимизмъ, о которомъ авторъ настоящихъ строкъ въ предисловіи къ первому тому собранія сочиненій Л. Андреева написалъ весьма опредѣленно съ вѣдома и согласія того, прежняго Андреева.

А было написано буквально слѣдующее: «Уже по поводу представленія «Трехъ сестеръ» на сценѣ Художественнаго театра онъ (Андреевъ) говоритъ объ особомъ пессимизмѣ, который больше знаетъ о жизни, чѣмъ всякій шаблонный оптимизмъ». Совершенно невѣрно—продолжаетъ Андреевъ—«то господствующее убѣжденіе, что если человѣкъ плачетъ, боленъ и убиваетъ себя, то жить ему значитъ не хочется и жизни онъ не любитъ». Дѣло въ томъ, что тоска по жизни,

ея жажда можетъ пѣть слезами и страданіемъ «гимнъ этой самой жизни»... И только тотъ, кто въ стонахъ умирающаго никогда не сумѣлъ подслушать побѣднаго крика жизни, не видитъ этого. Какую-то незамѣтную черту перешагнулъ А. П. Чеховъ—заключаетъ Л. Андреевъ—и жизнь, преслѣдуемая имъ когда-то жизнь, засіяла побѣднымъ свѣтомъ!» И въ полномъ согласіи со сказаннымъ въ статьѣ нашей далѣе стояло: «Подобно Чехову и Андреевъ здѣсь перешелъ отмѣченную имъ черту и утверждалъ жизнь въ самомъ ея отрицаніи». «Умираютъ только звѣри, у которыхъ нѣтъ лица, умираютъ только тѣ, кто убиваетъ, а тѣ, кто убитъ, кто растерзанъ, кто сожженъ—тѣ живутъ вѣчно».

Таковъ пессимизмъ прежняго Андреева. Подлинный—такъ какъ за нимъ признаніе и согласіе самаго поэта. Необходимый—такъ какъ мѣщанская трагедія сама въ себѣ выхода не имѣетъ. Отрадный, такъ какъ все же за этой трагедіей скрывается тоска по лучшему, идеальному, жажда прекрасной и сильной личности. И не говоря уже о горьковскомъ пессимизмѣ, котораго не существуетъ, но именно андреевскій пессимизмъ сыгралъ въ нашей жизни весьма

важную роль. По естественной и неизбѣжной діалектикѣ онъ заставилъ насъ искать и ждать лучшаго, не давалъ намъ заснуть и остыть, будилъ и тревожилъ! Много тяжелыхъ ударовъ нанесъ намъ Андреевъ твореніями своими, но полезны были эти удары для мѣщанскихъ душъ нашихъ. Всю раздвоенность нашу и пошлость, всю слабость и грязь, тупость и холопство вынесъ онъ на свѣтъ Божій и показалъ въ утроенномъ, учетверенномъ отображеніи. Никогда не забудутся первыя представленія «Екатерины Ивановны» въ Петроградѣ. Возмущеніе публики было неописуемо. Но именно свою жизнь, свою, по темнымъ угламъ спрятанную грязь узнало наше «общество», наша интеллигенція въ пьесѣ, за которую освистали автора. — «Какъ онъ смѣлъ?»—Вотъ былъ общій кликъ, но никто не дерзалъ отрицать, что такъ оно и есть, что портретъ совершенно схожъ, что герои пьесы наполняютъ собой и ложи и партеръ...

Бичемъ мѣщанства былъ Андреевъ. Бичемъ и пророкомъ въ одно и то-же время. Не идеализировалъ, не подмалевывалъ. Шелъ одинъ противъ всѣхъ. Гордо переносилъ низменную травлю, завистливые вопли. Каковъ ни на есть

былъ прекрасенъ въ творчествѣ своемъ. Бросалъ мелкотѣ то «Океанъ», то «Анатему». Оглушалъ, ослѣплялъ, поражалъ. Но былъ подобенъ Самсону, который и на себя и на окружающихъ его друзей рушилъ стѣны и столбы мѣщанскаго самодовольства, потрясалъ своды и ворочалъ камни затхлаго и темнаго капища. Свои пути нашелъ онъ. До послѣдней черты воплотилъ образъ въ болотѣ задыхавшагося Прометея. И казалось, вотъ еще, еще одно движеніе и выйдетъ измученный нечеловѣческою борьбою поэтъ и побѣдитъ въ себѣ великаго Анатэму своего и дастъ завершеніе тому, что было призваніемъ и вмѣстѣ гибелью мѣщанскаго стада съ его мучениками. Залогомъ достиженія этого были для насъ андреевскій пессимизмъ и отчаяніе и неустанное, ненасытное исканіе. Ибо у кого есть идеалъ, тотъ не можетъ не болѣть среди безобразія, кто жаждетъ высокаго, не можетъ не страдать среди низкаго. И когда прежній Андреевъ проклиналъ и ненавидѣлъ, взбирался на вершины и оттуда металъ въ насъ громы и молніи—мы знали: есть еще правда, есть Богъ, ради котораго казнитъ насъ пророкъ «жизни нашей»!

Пусть Андреевъ былъ обремененъ

всѣми грѣхами и пороками той среды, которую такъ ярко живописалъ. Охолодилъ умъ и лишилъ свѣта сердце. Вмѣстѣ съ звѣрями и арестантами, съ Іудой и Нуллюсомъ, Анѳисой и Катериной Ивановной прошелъ «Дни нашей жизни» пока не былъ побитъ камнями вмѣстѣ съ Давидомъ, радующимъ людей, и повѣшенъ съ Вернеромъ. Но одно то, что не шелъ поэтъ въ лагерь «ликующихъ, праздно болтающихъ, обагряющихъ руки въ крови»,—одно это было подвигомъ. Куда счастливѣе въ этомъ отношеніи былъ Горькій. Выйдя изъ мѣщанства, въ поискахъ своего «Бѣловодья» онъ нашелъ берега безграничнаго моря народнаго, услышалъ звонъ его подводныхъ колоколовъ, довѣрился его сильной и ласковой волнѣ. Хорошо такъ идти съ братьями и чувствовать, какъ плечо къ плечу, рука въ руку идутъ рядомъ другіе, крѣпкіе и спокойные, которые не измѣнятъ, не предадутъ. Идти въ народѣ и съ нимъ къ его солнцу. Андреевъ отъ мѣщанства не ушелъ. Но съ нимъ не мирился. И страдалъ вдвойнѣ. Какъ неутомимый строитель, подъ свистъ и брань толпы вѣчно строилъ все новыя и новыя аркады и башни, дворцы и храмы, лѣстницы и своды къ облакамъ, но бро-

салъ ихъ недовершенными, такъ какъ строилъ одинъ, а разрушали многіе. Безутѣшная картина! Но есть своя красота и величіе въ такомъ одинокомъ подвигѣ, есть смыслъ въ смѣломъ, хоть и безнадежномъ дерзаніи! Теперь еще недовершенная личность—дозрѣетъ нѣкогда подъ другими небесами!

Равно отраденъ былъ намъ поэтому Андреевъ, какъ и Горькій, ибо каждый кровью сердца своего искупилъ свои томленія и если одинъ былъ счастливѣе другого въ своей судьбѣ, то вмѣстѣ давали они полную картину и темную и свѣтлую современнаго русскаго общества. Равно дороги были намъ оба, такъ какъ служили одному Богу—правдѣ. И если могъ Андреевъ, индивидуалистъ и романтикъ мѣщанства, съ улыбкой недовѣрія прислушиваться къ разсказамъ Горькаго о «Будущемъ», о «Лѣтѣ» и «Боготворчествѣ», то, конечно, отсюда до прямой оппозиціи и яростной полемики было еще очень далеко. Допустимъ, что не нравилась Андрееву «партійность» Горькаго, его восторженность и вѣра—то и это не бѣда. Въ отрицаніи сходились оба, только выхода искали по разнымъ путямъ. Но оба были на одномъ берегу—угнетенныхъ и замученныхъ,

порабощенныхъ и отравленныхъ. Нѣчто вродѣ расхожденія во мнѣніяхъ убѣжденнаго «эс-ера» и не менѣе твердаго «эсдека», дѣйствовавшихъ однако сообща, хоть и идущихъ розно. И если могъ протестовать Андреевъ противъ чего, то противъ горьковской идеализаціи пролетаріата, а если противъ чего могъ возражать Горькій, то противъ андреевскаго превознесенія личности.

На дѣлѣ однако все повернулось совершенно иначе. Два великихъ современника нашихъ оказались на разныхъ берегахъ. И не Горькій измѣнилъ своему прежнему знамени, но Андреевъ перешелъ изъ стана «погибающихъ за великое дѣло любви» туда, гдѣ изъ золота куются новыя цѣпи для Европы и создаются новые идолы побѣдителей. И какъ всякій вновь обращенный, который стремится не только уничтожить противника, но поразить свое собственное прошлое, пылаетъ Андреевъ новымъ жаромъ, проповѣдуетъ новыхъ боговъ.

Какъ это случилось?

Уже не разъ въ послѣднихъ произведеніяхъ своихъ Андреевъ пытался перейти изъ минора въ мажоръ, отъ отрицательнаго къ положительному. Сыграли

роль и усталость и одиночество и желаніе какъ нибудь успокоиться и остановиться—хотя-бы путемъ иллюзіи и компромисса. Сильно подѣйствовала реакція, вліянію которой долго противился поэтъ, но наконецъ долженъ былъ уступить и пойти на примиреніе съ обществомъ. Разочарованіе въ революціонныхъ силахъ Россіи ярко отразилось уже въ «Сашкѣ Жигулевѣ». Сказалась и столь естественная въ русскомъ писателѣ потребность не только говорить, но и дѣйствовать, участвовать активно въ общественной жизни—учить, вести, направлять. А между тѣмъ какъ разъ въ послѣднее время передъ войной отношеніе къ Андрееву среди широкихъ круговъ русскаго общества рѣзко измѣнилось въ невыгодную для поэта сторону. Одни, увлеченные либерально-буржуазнымъ теченіемъ, ненавидѣли его за излишне черныя краски и радикализмъ, другіе уже оперлись на народные пролетарскіе и крестьянскіе круги и въ Андреевѣ больше не нуждались. Наконецъ колоссальную роль сыграла въ его духовномъ переломѣ война со всѣмъ тѣмъ измѣненіемъ общественной психики, которой всѣ мы были свидѣтелями.

Не должно однако думать, что война

была такъ-же воспринята Андреевымъ, какъ многими русскими людьми, которые безъ дальнѣйшихъ размышленій были увлечены историческими событіями. Напротивъ, онъ, не смотря на все желаніе говорить и писать какъ всѣ «патріоты», подошелъ къ ней весьма по андреевски. Въ дѣятелѣ «Отечества» не надо забывать поэта-романтика. А романтики еще въ началѣ XIX в. навсегда зарекомендовали себя какъ спеціальные любители войнъ и кровавой борьбы, нечеловѣческихъ подвиговъ и поражающихъ картинъ жестокости и изувѣрства. Недаромъ еще въ «Кровавомъ Смѣхѣ» прорывались и у Андреева странныя нотки садическаго сладострастія человѣка-звѣря. Красное горячее вино, бьющееся въ человѣческихъ жилахъ, это любимая жидкость у андреевскихъ прирожденныхъ убійцъ и разрушителей. Любятъ они огонь пожаровъ и грохотъ падающихъ башенъ, веселое пламя истребленія и пляску смертельнаго безумія. Кто понялъ «Бездну» и «Тьму», тотъ не могъ устоять передъ горячимъ вихремъ, унесшимъ въ дымномъ смерчѣ и Реймсъ и Лувенъ и Калишъ и Бѣлградъ. И когда поднялась еще первая волна боевой романтики съ ея грохотомъ, зарницами и смертью —

Андреевъ сразу почувствовалъ свою стихію, то фантастическое и вмѣстѣ реальное, до крайности элементарное по содержанію и грандіозное по внѣшнимъ размѣрамъ, что было такъ близко его душѣ въ мечтахъ и предчувствіяхъ.

Невозможно безъ содроганія читать тѣхъ восторговъ, которыми осыпаетъ Андреевъ современную технику разрушенія и главнаго ея дѣятеля—человѣка, homo volans—человѣка летающаго! Вотъ что пишетъ нашъ пѣвецъ сверхчеловѣка: «Не успѣвъ взлетѣть, уже вступилъ въ воздушную войну человѣкъ; еще только вчера самъ себя едва державшій въ воздухѣ и покорно падавшій при первой случайности, сегодня онъ полнымъ хозяиномъ летаетъ подъ градомъ пуль и шрапнелей, дерется, разрушаетъ города, грозитъ Лондону и Парижу, бросаетъ внизъ насмѣшливо вызывающія записочки... способенъ заниматься даже пустяками. Удивительное время, когда вдругъ всѣми своими гранями засверкалъ старый homo, по всѣмъ предметамъ сразу держитъ міровой экзаменъ: и на злобу, и на великодушіе, и на смѣлость и на умъ — homo sapiens, homo volans — первый въ лѣсу, первый на морѣ... первый въ воздухѣ! Старый чудесный homo, самый за-

гадочный и великолѣпный изъ всѣхъ звѣрей міра»! Захлебываясь описываетъ далѣе Андреевъ въ той-же статьѣ воздушную битву, чувствуетъ въ это время себя членомъ единаго человѣческаго рода, отдѣльные виды котораго «дерутся», восхищается доблестью «человѣка», кѣмъ-бы онъ ни былъ, туркомъ, англичаниномъ или нѣмцемъ, и лишь сожалѣетъ, что нѣтъ дороги въ адъ для испытанія новыхъ сильныхъ ощущеній, такъ какъ homo въ этомъ случаѣ «регулярно, съ сигарой въ зубахъ, путешествовалъ-бы въ адъ и жарился на его адскихъ огняхъ, какъ теперь шатается онъ по Ривьерѣ—или мерзнетъ на полюсахъ — или «летаетъ подъ выстрѣлами». Вотъ онъ каковъ, старый великолѣпный homo—первый въ небѣ и первый въ аду!», (Въ сей грозный часъ—статьи).

Этотъ отрывокъ необычайно характеренъ для андреевскаго «военнаго» оптимизма. Здѣсь все не какъ у обыкновенныхъ людей, честно исполняющихъ свой долгъ передъ родиной, но совершенно лишенныхъ «великолѣпной» романтики убійства. Во первыхъ поражаетъ идеализація человѣка, названнаго для торжественности по латыни — homo — именно въ качествѣ не человѣка, а «самаго зага-

дочнаго и великолѣпнаго изъ всѣхъ звѣрей». Во вторыхъ этотъ восторгъ передъ «звѣремъ» настолько захватываетъ Андреева, что онъ даже забываетъ, кто и за что дерется. «Турокъ, англичанинъ или нѣмецъ»—для него безразлично,—чтобы только дрались и проявляли нужныя ему добродѣтели со «злобою» въ томъ числѣ; наконецъ, мало нашему поэту современной войны, и чтобы еще лучше организовать спортъ муки и смерти, онъ мечтаетъ объ «адѣ» и пріятныхъ въ адъ путешествіяхъ для блазированныхъ звѣрей высшей породы, катающихъ по Ниццамъ и сѣвернымъ полюсамъ. Какъ хорошо! Наконецъ то нашелъ Андреевъ спортсмэновъ, достойныхъ стать его сверхчеловѣками. Наконецъ-то не въ мечтѣ, не въ фантазіи, а на самомъ дѣлѣ стали люди играть въ лаунъ-теннисъ не простыми шарами, а чѣмъ-то гораздо поинтереснѣе. Уже не объ ужасѣ и бѣдствіи говоритъ нашъ поэтъ, а о великомъ торжествѣ «человѣка», этого великолѣпнѣйшаго изъ всѣхъ «звѣрей». Смѣлый вольтъ, прекрасная перемѣна позиціи!

Да оно и понятно. Благодаря войнѣ съ поэтомъ нашимъ произошло великое чудо. Тотъ «Духъ», самое имя котораго не дерзалъ назвать Давидъ Лейзеръ, те-

перь по словамъ Андреева, не только сошелъ на землю, но непосредственно рѣшилъ принять участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ. И подобно тому, какъ Моисей молитвою своей, а сподвижники его держаніемъ рукъ моисеевыхъ кверху способствовали чудесной побѣдѣ Іисуса Навина надъ Амаликомъ, должны и русскіе люди принудить «Духа» своего молитвой къ участію въ битвѣ и побѣдѣ. «Надо молиться», восклицаетъ поэтому Андреевъ, поэтъ, который не можетъ и не долженъ молчать, — «противоставьте» Вильгельму «силу Духа, которая не знаетъ пораженій». «Въ поднятыхъ къ небу рукахъ, въ сердцахъ, вознесенныхъ горѣ — вотъ гдѣ наша сила»... «Надо молиться»... А чтобы молитва была крѣпче, и «Духъ» навѣрное помогъ, рекомендуетъ нашъ поэтъ всѣмъ слабымъ и немощнымъ: «держитесь крѣпче за великихъ, за пророковъ и человѣколюбцевъ, ихъ свѣтло вѣющія одежды имѣютъ силу держать надъ пучиной». И очевидно намекая на самого себя, какъ жреца воинствующаго Духа, взываетъ Андреевъ: «Общайтесь съ великими; ихъ безсмертно звучащія рѣчи сильнѣе грохота снарядовъ, ихъ правдивой красоты не побѣдить лживымъ

красотамъ ночныхъ пожаровъ». (Въ сей грозный часъ).

Попробуемъ теперь вкратцѣ соединить сказанное. Итакъ ради торжества великолѣпныхъ звѣрей по теоріи Андреева дѣйствуетъ сошедшій на землю «Духъ» а съ нимъ вмѣстѣ орудуютъ «великіе», за одежды которыхъ держится уже болѣе простая публика. Довольно сложное построеніе, но уже несомнѣнно положительнаго свойства.

Кромѣ великолѣпныхъ звѣрей появляются на сцену «великіе, пророки и человѣколюбцы», и эти уже не занимаются путешествіемъ въ адъ, но, какъ очевидно, общаются съ людьми. Однакоже, какъ и подобаетъ «великимъ», они оставляютъ за собой весьма почетную функцію произносить «безсмертно звучащія рѣчи» и являть публикѣ «правдивую красоту». Что-же касается другихъ людей, простыхъ, по прежнему опредѣленію Андреева — «безликихъ», то судьбу ихъ довольно ярко рисуетъ нашъ «великій» въ разсказѣ «Иго войны», гдѣ и устанавливается программа штатскаго тыла.

Въ поученіе всѣмъ «маленькимъ людямъ» въ разсказѣ этомъ повѣствуется о томъ, какъ нѣкій бухгалтеръ, Илья

Павловичъ Дементьевъ, несмотря на войну пробовалъ и хотѣлъ быть счастливымъ своимъ семейнымъ уютомъ, дѣтьми и обывательской своей жизнью. Какъ и всякій изъ милліонной обывательской массы онъ не испытывалъ никакихъ особыхъ громокипящихъ чувствъ, не пылалъ патріотизмомъ, а мирно дѣлалъ свое маленькое дѣло. Все это, какъ мы знаемъ, нисколько не мѣшаетъ такимъ рядовымъ «доможителямъ» въ надлежащій моментъ при зачисленіи въ военную службу становиться добрыми солдатами и нисколько не хуже другихъ полагать свою жизнь за отечество. Дѣло войны не есть народное представленіе, а большая коллективная работа и если-бы не было той массы простыхъ людей, которые у себя дома работаютъ и ростятъ дѣтей, а въ окопахъ такъ-же спокойно и незамѣтно умираютъ, то врядъ-ли бы далеко уѣхали наши—по Андрееву—великолѣпные звѣри со всѣмъ ихъ адскимъ спортомъ.

Но, конечно, для такихъ «маленькихъ» людей совершенно излишни всѣ тѣ поэтическія воодушевленія и выкрики, которыми наши «великіе» демонстрируютъ свой патріотизмъ. Какъ разъ особенность людей долга и дѣла, что они

сами понимаютъ, въ чемъ суть, когда надо, и безъ словесныхъ горчичниковъ и другихъ сверхпатріотическихъ мѣръ отлично знаютъ и гдѣ ихъ отечество и что имъ нужно дѣлать. И если эти люди въ промежуткѣ между двумя боями смѣются, развлекаются и занимаются своими домашними и семейными дѣлами, то это только помогаетъ имъ переносить военное напряженіе исключительныхъ минутъ, и если обыватель, доколѣ онъ не призванъ, занимается своимъ дѣломъ и не пылаетъ со всѣхъ концовъ невѣроятно-страшными чувствами, то это очень хорошо. Безъ этого не было-бы экономіи силъ, не было-бы возможности накопленія въ тылу здоровой, нормальной психики, изъ запасовъ которой потомъ и расходуется потребная для войны энергія. Становясь на точку зрѣнія организаціи тыла, всякій администраторъ и стратегъ постарается всегда сдѣлать его обстановку возможно болѣе нормальной, приближаемой къ мирному времени, чтобы не подорвать преждевременно лихорадкой войны тѣ силы, которыя еще зрѣютъ и готовятся. Безъ покоя и отдыха въ тылу не можетъ дѣйствовать ни одна боевая часть, безъ покойнаго и сравнительно мирнаго тыла нельзя готовить

для длительной и напряженной работы нужныхъ для нея контингентовъ.

Нашъ «великій» однако слишкомъ далекъ отъ реальной жизни и ея задачъ. Плѣненный внѣшней декораціей войны, ощутившій, можетъ быть, впервые для себя то чувство близости къ народу, которое во время опасности охватываетъ всѣхъ, онъ рѣшилъ, что, если война развертывается такой колоссальной картиной, то должно соотвѣтствовать этому и непрестанное бурленіе вулканическихъ чувствъ, сверхъестественное состояніе непрерывной лихорадки и ужъ въ крайнемъ случаѣ неземное смиреніе на предметъ «жертвеннаго подвига». А если этого наблюдается въ недостаточной—съ точки зрѣнія поэта—степени, то именно задача поэта, который «не долженъ молчать» и заключается въ томъ, чтобы мѣрами чрезвычайнаго возбужденія, искусственнаго воодушевленія, патріотической шумихи и всяческихъ выкриковъ истерическаго характера непрестанно держать несчастнаго обывателя въ горячечномъ состояніи. Въ этомъ и все содержаніе пресловутаго спора о томъ, должны-ли или не должны молчать поэты».

«Иго войны» и есть въ этомъ духѣ нравоучительный разсказъ, въ которомъ

Андреевъ на страхъ другимъ обывателямъ подвергаетъ несчастнаго господина Дементьева всякимъ бѣдствіямъ, чтобы доказать другимъ, сколь непохвально заниматься маленькимъ счастьемъ своимъ во время великихъ общественныхъ несчастій. Какъ нѣкій многострадальный Іовъ, теряетъ Дементьевъ мѣсто, хоронитъ любимую дѣвочку, дочку свою, переживаетъ всякія напасти, покушается даже на самоубійство, пока наконецъ не ощущаетъ надлежащаго раскаянія въ своемъ высокопреступномъ поведеніи. «Россія прокляла меня»—такъ говоритъ несчастный въ своемъ изступленіи—«что я сдѣлалъ для Россіи въ эту тяжкую для нея годину... зналъ я, какъ и всѣ, что отечество въ опасности, самъ твердилъ эти страшныя слова, какъ ученый попугай,—а что сдѣлалъ? Ничего. Страшно подумать, какое безпощадное осужденіе заключено въ этомъ коротенькомъ словѣ. Безтрепетно, своею рукою я казню себя, какъ казнятся шпіоны и предатели, которымъ нѣтъ мѣста на землѣ»...

Словами этого несчастнаго говоритъ самъ Андреевъ. Ему недостаточно, что этотъ человѣкъ подобно всѣмъ другимъ несетъ тяжелые расходы по дороговизнѣ, уплачиваетъ усиленные военные налоги,

страдаетъ отъ измѣненія цѣнности рубля, теряетъ дочь отъ недостатка врачебной помощи вслѣдствіе военнаго времени, отдаетъ свою жену для служенія раненымъ и, если его призовутъ, то пойдетъ вмѣстѣ съ другими въ бой и окопы, нѣтъ, нужно особое доказательство, сверхъестественное смиреніе, истерика, безъ этого не вѣритъ Андреевъ русскому человѣку. И лишь когда обезумѣвшій Дементьевъ бѣжитъ съ гимназистами собирать въ кружки на раненыхъ и заявляетъ о своемъ совершенно ненормальномъ состояніи, отпускаетъ Андреевъ его душу на покаяніе: «Жилъ я «клѣточкой» и умру такой-же клѣточкой, и только объ одномъ молю судьбу свою: чтобъ не была напрасной моя смерть и страданія, которыя принимаю покорно и со смиреніемъ. Но не могу успокоиться въ этой безнадежности: горитъ у меня сердце и такъ я тянусь къ кому-то руками: прійди, дай прикоснуться! Я такъ люблю тебя, милый, милый ты мой!.. И все плачу, все плачу, все плачу». И нѣсколько разъ на послѣднихъ страницахъ разсказа все говорится, какъ герой плачетъ и плачетъ и плачетъ! Безъ этого не далъ-бы ему пощады Андреевъ!

Великолѣпные звѣри и святовѣйные

пророки, плачущіе Дементьевы и гремящіе поэты—почти вся бутафорія новой пьесы налицо; пьесы, которую ставитъ авторъ «Краснаго Смѣха». Но не хватаетъ еще героическихъ монологовъ и трескучихъ фразъ, туманной сентиментальности и славянскаго паѳоса для того, чтобы пьеса была закончена по всѣмъ правиламъ газетнаго и уличнаго ритуала. И это совершается. Приглашается новая патріотическая фирма «Россія и сыновья» или иначе, «Земля и сыновья», въ основу ея полагается «братолюбіе» какъ «краеугольный камень, на которомъ строится согласно завѣтамъ нашихъ учителей и пророковъ, молодая крѣпкая Россія»; подъ этимъ кровомъ воздвигается свѣтильникъ всего человѣчества, скапливается «капиталъ», который называется «культурой»; ее-же составляютъ—«книги, искусство, наука, добрыя человѣческія отношенія»; Россія именуется также «матерью». Такъ понимаемая Россія далѣе потому съ особеннымъ одушевленіемъ должна вести борьбу, что ей наравнѣ съ прочими участниками войны «долженъ возсіять» «какой-то свѣтъ».— «Онъ долженъ быть. Онъ близокъ», говоритъ Андреевъ, «онъ гдѣ-то здѣсь, за черной линіей горизонта, его мерцаніемъ на-

поена вся ночь войны, онъ близокъ — свѣтъ, который долженъ возсіять». И хотя самъ человѣколюбецъ нашъ не достаточно твердо убѣжденъ въ томъ, что и дѣйствительно свѣтъ возсіяетъ, «быть-можетъ, говоритъ онъ, это только миражъ... призрачное озеро, у котораго не напиться воды ни однимъ жаждущимъ устамъ», однако-же именно въ этотъ свѣтъ, который долженъ возсіять, человѣчество вѣритъ теперь, будто-бы, также «изступленно», какъ нѣкогда вѣрили въ этотъ свѣтъ крестоносцы.

За свѣтомъ слѣдуетъ любовь. Уже въ разсказѣ «Иго войны» мы находимъ цѣлые припадки любви, истекающей безпрерывными слезами. «Посмотрѣлъ... на землю — разсказываетъ Дементьевъ — и вижу людей, которые плачутъ, и такое множество ихъ, и я съ ними, и они меня не прогоняютъ прочь, а довѣрчиво прижимаются къ моей груди... И вдругъ такъ я ихъ всѣхъ полюбилъ, такъ люблю, что чувствую всѣмъ тѣломъ: нѣтъ не могу больше, сейчасъ кричать начну отъ любви»... Такая истерическая любовь весьма характерна для Андреева. Неоднократно онъ взываетъ въ своихъ военныхъ статьяхъ: солдаты прошли съ пѣсней, и вотъ «всѣ пѣвшіе, сколько ихъ ни

было, стали — говоритъ поэтъ — моими родными братьями, вошли въ самое сердце неразрывной любовью и такой глубокой нѣжностью». «Любите и жалѣйте солдата»—въ другой статьѣ взываетъ онъ— «Любовь превозмогаетъ все», «вѣрьте, вѣрьте въ силу любви». «Множьте любовь! Множьте любовь! — твердитъ намъ человѣколюбецъ въ статьѣ о Сербіи — множьте любовь, множьте щедрость! Множьте великодушіе ваше! «Болѣе всего мы и сами должны дорожить «нѣжной и довѣрчивой любовью». Можно сказать, прямо истекаетъ Андреевъ любовью. Удивительно на него война подѣйствовала. Въ мирное время зналъ лишь злобу да звѣрство. А въ военное залило его любовью и притомъ не къ однимъ какимъ-нибудь опредѣленнымъ людямъ, а прямо къ массамъ и народамъ, то ко всѣмъ солдатамъ, то къ сербамъ, то къ русскимъ. Только одной любви еще не хватаетъ по евангельски—къ врагамъ нашимъ!

Отъ любви теперь прямой переходъ къ нашей самобытности по старому славянофильскому образцу съ борьбою противъ германскаго засилія. Протестуя противъ выраженій обнародованнаго въ газетахъ воззванія русскихъ «писателей,

художниковъ и артистовъ», возмущаясь ихъ опасеніями по поводу всеобщаго торжества національнзма и милитаризма, Андреевъ говоритъ: «здѣсь, въ борьбѣ съ германизмомъ, задача наша ограничивается самообороной, возвращеніемъ духа нашего въ его естественныя границы, возстановленіемъ тѣхъ особенностей нашей души, мышленія и желанія, морали и эстетики, политики и общественности, на которыхъ съ давнихъ поръ лежитъ тяжелое ярмо пруссачества». Эта задача «освобожденія Россіи отъ злыхъ чаръ германизма» осложняется еще тѣмъ, что какъ разъ мы въ силу національной особенности нашей не только «умѣемъ цѣнить, любить и почитать все великое и прекрасное, подъ какими-бы широтами и въ какомъ бы народѣ оно не родилось», но и въ частности «дары германскаго генія» настолько «уже давно поглощены нами», что «вошли въ нашу кровь и плоть, организовались, стали нашей наслѣдственностью». Отсюда ясно, конечно, что мы и «сами не знаемъ той границы, гдѣ кончается давнишнее, вѣковое опрусѣніе русской жизни и русскаго духа».

Итакъ, хоть мы и не знаемъ точно, гдѣ кончается русскій духъ и начинается

прусскій, гдѣ мы воспріяли данайскіе дары германскаго генія и гдѣ его обрусѣли, но все же даже сейчасъ пробуетъ Андреевъ намѣтить кое-что отъ подлежащаго истребленію германскаго засилія. Таковыми, напримѣръ, представляются ему наши «анти» и «фобіи», «постоянныя попытки начала живой жизни подмѣнить началами механическими, разрушеніе сложной личности и сведеніе ея къ узкой абстракціи», подчиненіе «міра живыхъ идей» «желѣзной армейской дисциплинѣ» и т. д.—т. е. другими словами все, что нарушаетъ «любовь» и препятствуетъ «свѣту, который долженъ возсіять». Что-же касается средствъ для такого очищенія русскаго духа, то мы уже видѣли выше образцы великолѣпныхъ «звѣрей», которые, надо полагать, сумѣютъ произвести чистку при помощи нашихъ «великихъ» и «пророковъ», но безъ «колебаній» и «грустной нерѣшительности»; эту послѣднюю подмѣтилъ Андреевъ какъ разъ у русскихъ писателей, художниковъ и артистовъ, которые все опасаются, какъ бы широко простающее сѣмя національной вражды и ненависти «не перекинулось» и на другіе народы.

Не первый разъ романтика пробуетъ

окутать политическіе идеалы пышной фразеологіей, не первый разъ «Духъ», «любовь» и туманный «свѣтъ, который долженъ возсіять» притягиваются за волосы на эту бренную землю, чтобы пріукрасить ея далеко не веселую дѣйствительность. Точно также не впервые и спеціально русская сущность «Земли и сыновей» выступаетъ для оправданія вещей, которыя совершенно въ такомъ оправданіи не нуждаются. И самое стремленіе Андреева превратить своего поэтическаго Пегаса въ добрую драгунскую лошадь, а самому стать лейбъ-горнистомъ міровой войны далеко не представляется чѣмъ-то новымъ. Развѣ добрый старый нѣмецкій философъ Фихте не сталъ въ свое время духовнымъ тамбуръ-мажоромъ «нѣмецкой націи», развѣ не говорилъ онъ къ ней своихъ вдохновляющихъ и освободительныхъ рѣчей? Уже это было, и не разъ устраивалось и съ большимъ талантомъ и съ большимъ знаніемъ дѣла, чѣмъ это дѣлаетъ въ значительной степени излишнее выступленіе Л. Андреева съ его молитвами, слезами и ловко проскочившимъ въ сладкую патоку святовѣйныхъ ризъ—«homo volans» изъ породы коршуновъ.

Насъ здѣсь интересуетъ другое. На

примѣрѣ Андреева мы встрѣчаемся дѣйствительно съ рожденіемъ той «восточной души», противъ которой такъ горячо протестовалъ Горькій. И мы понимаемъ теперь самымъ опредѣленнымъ образомъ, почему за «восточную душу» не только обидѣлся такъ жестоко Андреевъ, но даже счелъ нужнымъ выступить вмѣстѣ съ соратниками своими противъ писателя, который, что называется, попалъ не въ бровь, а въ самый глазъ. Стоитъ только сопоставить горьковскую характеристику «восточной души» съ новѣйшими романтико-національными выступленіями Андреева, чтобы понять весь гнѣвъ разгаданнаго и разоблаченнаго «человѣколюбца» и «пророка»: безудержная идеализація существующаго съ полной потерей ощущенія реальности, замѣна дѣйствительныхъ явленій фантастическими существами по методу наивнѣйшаго олицетворенія, привлеченіе мистическихъ понятій и силъ, неопредѣленная и туманная терминологія, допускающая какія угодно толкованія, противоположеніе героевъ и толпы въ видѣ какихъ-то полубоговъ, властвующихъ надъ смиренно-самоотверженнымъ народомъ, наконецъ цѣлое море слезъ, чувствъ, сердечныхъ содроганій, кликушескихъ выкри-

ковъ, патологическихъ прорицаній—этоли не типичная «восточная душа» по опредѣленію Горькаго. И само собой, что съ точки зрѣнія этого надутаго искусственнаго «оптимизма», подогрѣтаго на жаровнѣ великаго «Духа», «свѣта, который возсіяетъ» и «любви»,—низменнымъ и грубымъ «пессимизмомъ» показался «великому» здоровый оптимизмъ Горькаго.

Но, надо отмѣтить, что андреевскій романтизмъ слишкомъ близко стоитъ ко всевозможнымъ славянофильскимъ упованіямъ, обѣтованіямъ и мечтамъ, чтобы быть вполнѣ безопаснымъ. И съ этой стороны весьма полезно будетъ сопоставить пророческій экстазъ «свѣтовѣйнаго» съ судьбами тѣхъ ученій, которыя зачинаются Хомяковымъ и Кирѣевскими и кончаются Катковымъ и Русскимъ Собраніемъ.

Начали славянофилы подобно Андрееву съ весьма идеальнаго ученія о народѣ. И очень вѣрно передана ихъ основная идея въ извѣстномъ юмористическомъ стихотвореніи Б. Н. Алмазова:

Не къ пути земному тѣсному
Созданъ, призванъ нашъ народъ,
А къ чему-то неизвѣстному,
Непонятному, чудесному,
Даже, кажется, небесному
Тайный гласъ его зоветъ.

И въ самомъ дѣлѣ. Развѣ не были провозглашены правда и совѣсть какъ основы общежитія «равномѣрно самоотверженныхъ личностей», развѣ не была признана «земля» носительницей особой духовной жизни, а свобода слова вознесена какъ завершеніе духовной и нравственной свободы. И по правдѣ сказать, Андреевъ не доходилъ въ своей политической романтикѣ до такихъ прекрасныхъ строкъ, какъ гимнъ «Свободному Слову» К. Аксакова. Любовь, смиреніе и любовный союзъ были положены въ основу отношеній Земли и Власти, причемъ предполагалось, что безъ всякихъ конституцій между этими двумя началами водворится полное искренности и довѣренности отношеніе, если только за народомъ будетъ оставлена полная свобода жизни и внѣшней и внутренней, свобода нравственная, свобода жизни и духа, а за правительствомъ полная свобода правленія, неограниченная власть государственная. Такъ за правительствомъ оставалось исключительное право дѣйствія, а за народомъ — право мнѣнія. Вся сила строя этого въ нравственномъ убѣжденіи. И смиреніемъ проникнутый русскій народъ долженъ былъ просвѣтить гнилой западъ, послу-

жить для него народомъ — богоносцемъ. Чѣмъ не идиллія, построенная, однако, въ такое время, когда за отсутствіемъ серьезной науки и политической практики, дѣйствительно можно было только мечтать и вѣрить. И что-же, еще Хомяковъ опередилъ Андреева въ превозглашеніи русскаго духа всеобъемлющей силой, воспринимающей въ себя европейскую культуру. Народность Хомяковъ называлъ «началомъ общечеловѣческимъ, облеченнымъ въ живыя формы народа», оно, воспринимая въ себя то Фидія и Платона, то Рафаеля и Вико, то Бэкона и Шекспира, то Гегеля и Гете «богатитъ собою все человѣчество», «принимаетъ въ себя все человѣческое» только «отстраняя чужеродное своею неподкупною критикою». Предупредили славянофилы Андреева въ своей національной терпимости,—превозглашая вмѣстѣ съ К. Аксаковымъ: «да здравствуетъ каждая народность». Какъ говорилъ Хомяковъ о «ключѣ», бьющемъ въ груди Россіи, онъ

Водоема въ тѣсной чащѣ
Не вѣчно будетъ заключенъ,
Нѣтъ, съ каждымъ днемъ живѣй и краше
И глубже будетъ литься онъ.
И вѣрю я, тотъ часъ настанетъ,
Рѣка свой край перебѣжитъ,
На небо голубое взглянетъ
И небо все въ себѣ вмѣститъ.
. . . . . .

Смотрите, мчатся черезъ волны
Съ богатствомъ мыслей корабли,
Любимцы неба, силы полны,
Плодотворители земли.

Такъ пѣли нѣкогда старые славянофилы. И нужно отдать имъ справедливость, пѣли куда лучше и талантливѣе Андреева. Но романтика и ихъ жестоко подвела. Подъ туманныя, неопредѣленныя понятія, подъ прекрасныя чувства и благородныя мечты слишкомъ легко было подставить неблагородную дѣйствительность. Стоило только смиреніе народное отдать во власть не воображаемому правительству «правды внѣшней», а реальной управѣ благочинія, къ «союзу любви» прибавить нѣсколько капель полицейской принудительности, а мессіанскую идею сочетать съ «громъ побѣды раздавайся», и превращеніе готово. Вѣдь, чувство допускаетъ различныя степени напряженности и сама любовь можетъ легко изъ нѣжнаго зефира превратиться подъ вліяніемъ обстоятельствъ въ бѣшенство раскаленныхъ страстей. И можно-ли осудить того, кто сначала для обожаемаго предмета требуетъ только признанія права на существованіе, а по мѣрѣ роста чувствъ своихъ кончаетъ предложеніемъ пасть вмѣстѣ съ нимъ на колѣни и лобызать

землю у ногъ единственнаго, совершеннаго, божественнаго существа! Болѣе того, развѣ нелогичнымъ будетъ потребовать для совершенства его закрѣпленія, пріостановки на вѣка: мгновеніе остановись, ты прекрасно!

Такъ и сдѣлали эпигоны славянофильства. Уже Данилевскій построилъ въ рѣзкую противоположность «развращенному» Западу высшій культурно-историческій типъ Россіи и славянства, а для будущаго русскаго парламента нашелъ одну кличку: «шуты гороховые»; и это послѣдовательно съ точки зрѣнія теоріи, гдѣ народъ есть только духовная категорія, а русскому человѣку въ качествѣ національной особенности присущи умѣнье и привычка повиноваться. Леонтьевъ пошелъ еще дальше. Отождествляя всякое развитіе съ разложеніемъ, упрощеніемъ составныхъ частей и ослабленіемъ единства, онъ проповѣдывалъ деспотизмъ, безграмотство и нищету какъ единственное средство сохранить въ цѣлости идеальныя сокровища русскаго духа: «Россію надо подморозить!» Съ этой точки зрѣнія привѣтствовалъ онъ и турецкое владычество надъ славянами—этимъ путемъ спасались они отъ «смрада мелкаго земного всеблаженства, земной радикальной

всепошлости!» Катковъ, наконецъ, прямо воплотилъ идеальныя народныя силы во всесильномъ государствѣ и обожествилъ послѣднее. Для него народъ есть фактъ и ничто больше. О какихъ-либо правахъ свободы для такого факта говорить больше не приходится.

И когда въ настоящее время отчетливыхъ политическихъ интересовъ, классовой борьбы, капиталистически организованнаго націонализма и господства весьма раціонально продуманныхъ цѣлей, намъ предлагаютъ удариться въ область чувствъ и не говорятъ ясно и отчетливо о положительныхъ намѣреніяхъ и планахъ—мы вполнѣ вправѣ предположить, что здѣсь мы имѣемъ дѣло или съ политической махинаціей или съ жертвой ея. Мы не думаемъ, чтобы Л. Андреевъ былъ способенъ на сознательное лицемѣріе или идеологическое шарлатанство—для этого онъ слишкомъ поэтъ и художникъ—но что его «восточная душа» есть порожденіе непридуманнаго порыва, который затѣмъ можетъ быть использованъ для самыхъ различныхъ цѣлей соотвѣтственными спеціалистами — это вполнѣ вѣроятно. Въ такихъ большихъ дѣлахъ и крупныхъ событіяхъ нужны не чувства, а свѣтлая спокойная голова, знанія, опытъ

и крѣпкая, цѣлесообразно дѣйствующая воля. А иначе, глядишь, и свершится то, противъ чего такъ протестуетъ самъ Андреевъ, а именно, говоря словами извѣстнаго воззванія русскихъ писателей: проростетъ «широко брошенное» рукой Германіи «сѣмя національной гордыни и ненависти», «пламенемъ» перекинется «ожесточеніе къ другимъ народамъ» и,—прибавимъ мы—вмѣсто «свѣта, который долженъ возсѣять» водворится германскій лозунгъ «Deutschland über Alles» въ переводѣ на другіе языки и страны.

Какъ не повторить здѣсь словъ Горькаго о томъ, что «мы какъ и жители Азіи, люди красиваго слова и неразумныхъ дѣяній; мы отчаянно много говоримъ, но мало и плохо дѣлаемъ»,—про насъ справедливо сказано, что «у русскихъ множество суевѣрій, но нѣтъ идей»; на Западѣ люди творятъ исторію, а мы все еще сочиняемъ «скверные анекдоты».

БИБЛІОТЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ.